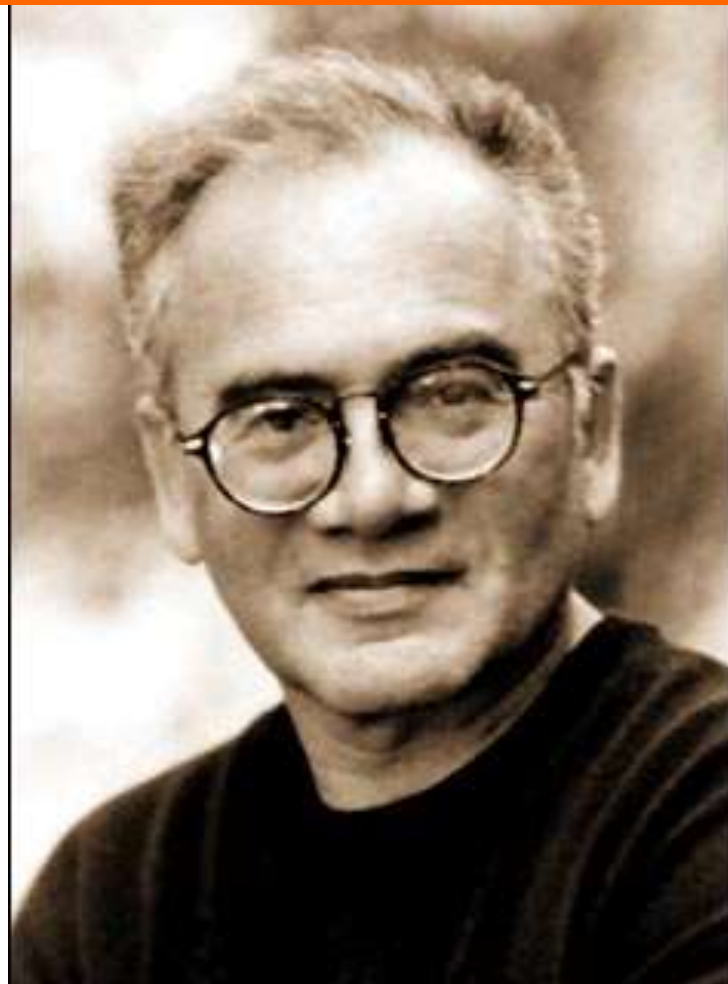


ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

Часть 18. СТИХИ.

КУШНЕР АЛЕКСАНДР

Составитель МУЧНИК ЭТЯ БОРИСОВНА



Александр Семёнович Кушнер — русский поэт. Автор более 30 книг стихов и ряда статей о классической и современной русской поэзии. Родился 14 сентября 1936 года в Ленинграде. Отец будущего поэта подполковник С. С. Кушнер (1911—1980) был военно-морским инженером. А. Кушнер учился на филологическом факультете Педагогического института им. А. Герцена. В 1959—1969 гг. преподавал в школе русский язык и литературу. С конца 1960-х перешел на профессиональную литературную деятельность. В 1993 году подписал «Письмо 42-х». Член СП СССР (1965), Русского ПЕН-центра (1987). Гл. редактор «Библиотеки поэта» (с 1992; с 1995 — «Новой библиотеки поэта»). Член редколлегии ж-лов «Звезда», «Контрапункт» (с 1998), виртуального ж-ла «Арт-Петербург» (с 1996). Женат на поэтессе Елене Невзглядовой. И. Бродский дал общую оценку творчества поэта так: «Александр Кушнер — один из лучших лирических поэтов XX века, и его имени суждено стоять в ряду имён, дорогих сердцу всякого, чей родной язык русский».

Стихам Кушнера свойственна скромность, близость к прозаической речи; мастерство поэта раскрывается только при неторопливом чтении этих стихов — в соответствии с тем, как сам Кушнер раскрывает окружающий мир. Книги стихов А. Кушнера издавались в переводе на английский, голландский, итальянский. Стихотворения переводились на немецкий, французский, японский, иврит, чешский и болгарский.

ШЕСТИДЕСЯТЫЕ

Из книг «Первое впечатление» «Ночной дозор» «Приметы».

* * *

Что делать с первым впечатленьем?
Оно смущает и томит.
Оно граничит с удивленьем
И ни о чем не говорит.
Оно похоже на границу,
И всё как будто бы за ней
Трава иначе серебрится,
А клюква слаще и крупней.
Что делать с первым впечатленьем
В последующие часы?
Оно проходит дуновеньем
Чужой печали и красы.
И повторится вряд ли снова,
И проживет не много дней,
Но настоящего, второго,
Оно и ярче, и милей.

* * *

Когда я очень затоскую,
Достану книжку записную,
И вот ни крикнуть, ни вздохнуть —
Я позвоню кому-нибудь.
О голоса моих знакомых!
Спасибо вам, спасибо вам
За то, что вы бывали дома
По непробудным вечерам,
За то, что в трудном переплете
Любви и горя своего
Вы забывали, как живете,
Вы говорили: «Ничего».
И за обычными словами
Была такая доброта,
Как будто Бог стоял за вами
И вам подсказывал тогда.

ВВОДНЫЕ СЛОВА

Возьмите вводные слова.
От них кружится голова,
Они мешают суть сберечь
И замедляют нашу речь.

И все ж удобны потому,
Что выдают легко другим,
Как мы относимся к тому,
О чем, смущаясь, говорим.
Мне скажут: «К счастью...»
И потом
Пусть что угодно говорят,
Я слушаю с открытым ртом
И радуюсь всему подряд.
Меня, как всех, не раз, не два
Спасали вводные слова,
И чаще прочих среди них
Слова «во-первых, во-вторых».
Они, начав издалека,
Давали повод не спеша
Собратся с мыслями, пока
Бог знает где была душа.

* * *

Прозаик прозу долго пишет.
Он разговоры наши слышит,
Он распивает с нами чай
При этом льет такие пули!
При этом как бы невзначай
Глядит, как ты сидишь на стуле.

Он, свой роман в уме построив,
Летит домой, не чуя ног,
И там судьбой своих героев
Распоряжается, как бог.

То судит их, то выручает,
Им зонтик вовремя вручает,
Сначала их в гостях сведет,
Потом на улице столкнет,
Изобразит их удивленье.
Не верю в эти совпадения!
Сиди, прозаик, тих и нем.
Никто не встретился ни с кем.

ДВА МАЛЬЧИКА

А. Битову

Два мальчика, два тихих обормотика,
ни свитера,
ни плащика,

ни зонтика,
под дождичком
на досточке
качаются,
а песенки у них уже кончаются,
Что завтра? Понедельник или пятница?
Им кажется, что долго детство тянется.
Поднимется один,
другой опустится.
К плечу прибилась бабочка
капустница.
Качаются весь день с утра и до ночи.
Ни горя,
ни любви,
ни мелкой сволочи.
Всё в будущем,
за морем одуванчиков.
Мне кажется, что я — один из мальчиков.

РИСУНОК

Ни царств, ушедших в сумрак,
Ни одного царя —
Ассирия! — рисунок
Один запомнил я.

Там злые ассирийцы
При копьях и щитах
Плывут вдоль всей страницы
На бычьих пузырях.

Так чудно плыть без лодки!
И брызги не видны,
И плоские бородки
Касаются волны.

Так весело со всеми
Качаться на волне.
«Эй, воин в остром шлеме,
Не страшно на войне?»

Эй, воин в остром шлеме,
Останешься на дне!»
Но воин в остром шлеме
Не отвечает мне.

Совсем о них забуду.
Бог весть в каком году

Я в хламе рыться буду —
Учебник тот найду

В картонном переплете.
И плеск услышу в нем.
«Вы всё еще плывете?» —
«Мы всё еще плывем!»

ГРАФИН

Вода в графине — чудо из чудес,
Прозрачный шар, задержанный в паденье!
Откуда он? Как очутился здесь?
На столике, в огромном учрежденье?
Какие предрассветные сады
Забыли мы и помним до сих пор мы?
И счастлив я способностью воды
Покорно повторять чужие формы.
А сам графин плывет из пустоты,
Как призрак льдин, растаявших однажды,
Как воплощенье горестной мечты
Несчастных тех, что умерли от жажды.
Что делать мне?

Отпить один глоток,
Подняв стакан? И чувствовать при этом,
Как подступает к сердцу холодок
Невыносимой жалости к предметам?
Когда сотрудница заговорит со мной,
Вздохну, но это не ее заслуга.
Разделены невидимой стеной,
Вода и воздух смотрят друг на друга.

ВАЗА

На античной вазе выступает
Человечков дивный хоровод.
Непонятно, кто кому внимает,
Непонятно, кто за кем идет.

Глубока старинная насечка,
Каждый пляшет и чему-то рад.
Среди них найду я человечка
С головой, повернутой назад.

Он высоко ноги поднимает,
Он вперед стремительно летит,
Но как будто что-то вспоминает
И назад, как в прошлое, глядит.

Что он видит? Горе неуместно.
То ли машет милая рукой,
То ли друг взывает — неизвестно!
Потому и грустный он такой.

Старый мастер, резчик по металлу,
Жизнь мою в рисунок разверни, —
Я пойду кружиться до отвалу
И плясать не хуже, чем они.

И в чужие вслушиваться речи,
И под бубен прыгать невпопад,
Как печальный этот человек
С головой, повернутой назад.

* * *

Декабрьским утром черно-синим
Тепло домашнее покинем
И выйдем молча на мороз.
Киоск фанерный льдом зарос,
Уходит в небо пар отвесный,
Деревья бьет сырая дрожь,
И ты не дремлешь, друг прелестный,
А щеки варежкой трешь.

Шел ночью снег. Скребут скребками.
Бегут кто тише, кто быстрее.
В слезах, под теплыми платками,
Прносят сонных малышей.
Как не похожи на прогулки
Такие выходы к реке!
Мы дрогнем в темном переулке
На ленинградском сквозняке.

И я усилием привычным
Вернуть стараюсь красоту
Домам, и скверам безразличным,
И пешеходу на мосту.
И пропускаю свой автобус,
И замерзаю, весь в снегу,
Но жить, куда этот фокус
Мне не удался, не могу.

* * *

О здание Главного штаба!
Ты желтой бумаги рулон,
Размотанный слева направо
И вогнутый, как небосклон.

О море чертежного глянца!
О неба холодная высь!
О, вырвись из рук итальянца
И в трубочку снова свернись.

Под плащ его серый, под мышку.
Чтоб рвался и терся о шов,
Чтоб шел итальянец вприпрыжку
В тени петербургских садов.

Под ветром, на холоде диком,
Едва поглядев ему вслед,
Смекну: между веком и мигом
Особенной разницы нет.

И больше, чем стройные зданья,
В чертах полюблю городских
Веселое это сознание
Таинственной зыбкости их.

СТАРИК

Кто тише старика,
Попавшего в больницу,
В окно издалека
Глядящего на птицу?

Кусты ему видны,
Прижатые к киоску.
Висят на нем штаны
Больничные, в полоску.

Бухгалтером он был
Иль стекла мазал мелом?
Уж он и сам забыл,
Каким был занят делом.

Сражался в домино
Иль мастерил динамик?
Теперь ему одно
Окно, как в детстве пряник.

И дальний клен ему
Весь виден, до прожилок,
Быть может, потому,
Что дышит смерть в затылок.

Вдруг подведут черту
Под ним, как пишут смету,
И он уже — по ту,
А дерево — по эту.

ШАШКИ

Я представляю все замашки
Тех двух за шахматной доской.
Один сказал: «Сыграем в шашки?
Вы легче справитесь с тоской».

Другой сказал: «К чему поблажки?
Вам не понять моей тоски.
Но если вам угодно в шашки,
То согласитесь в поддавки».

Ах, как легко они играли!
Как не жалели ничего!
Как будто по лесу плутали
Вдали от дома своего.

Что шашки? Взглядом умиленным
Свою скрепляли доброту,
Под стать уступчивым влюбленным,
Что в том же прятались саду.

И в споре двух великодуший
Тот, кто скорее уступал,
Себе, казалось, делал хуже,
Но, как ни странно, побеждал.

* * *

Бог семейных удовольствий,
Мирных сценок и торжеств,
Ты, как сторож в садоводстве,
Стар и добр среди божеств.

Поручил ты мне младенца,
Подарил ты мне жену,
Стол, и стул, и полотенце,

И ночную тишину.

Но голландского покроя
Мастерство и благодать
Не дают тебе покоя
И мешают рисовать.

Так как знаем деньгам цену,
Ты рисуешь нас в трудах,
А в уме лелеешь сцену
В развлеченьях и цветах.

Ты бокал суешь мне в руку,
Ты на стол швыряешь дичь
И сажаешь нас по кругу
И не можешь нас постичь!

Мы и впрямь к столу присядем,
Лишь тебя не убедим,
Тихо мальчика погладим,
Друг на друга поглядим.

ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ПРОГУЛКИ

Велосипедные прогулки!
Шмели и пекло на проселке.
И солнце, яркое на втулке,
Подслеповатое — на елке.

И свист, и скрип, и скрежетанье
Из всех кустов, со всех травинок,
Колес приятное мельканье
И блеск от крылышек и спинок.

Какой высокий зной палящий!
Как этот полдень долго длится!
И свет, и мгла, и тени в чаще,
И даль, и не с кем поделиться.

Есть наслаждение дорогой
Еще в том смысле, самом узком,
Что связан с пылью, и морокой,
И каждым склоном, каждым спуском.

Кто с сатаной по переулку
Гулял в старинном переплете,
Велосипедную прогулку
Имел в виду иль что-то вроде.

Где время? Съехав на запястье,
На ремешке стоит постыдно.
Жара. А если это счастье,
То где конец ему? Не видно.

* * *

Уехав, ты выбрал пространство,
Но время не хуже его.
Действительны оба лекарства:
Не вспомнить теперь ничего.
Наверное, мог бы остаться —
И был бы один результат.
Какие-то степи дымятся,
Какие-то тени летят.
Потом ты опомнишься: где ты?
Неважно. Допустим, Джанкой.
Вот видишь: две разные Леты,
А пить все равно из какой.

ГОФМАН

Одну минуточку, я что хотел спросить:
Легко ли Гофману три имени носить?
О, горевать и уставать за трех людей
Тому, кто Эрнст, и Теодор, и Амадей.
Эрнст — только винтик, канцелярии юрист,
Он за листом в суде марает новый лист,
Не рисовать, не сочинять ему, не петь —
В бюрократической машине той скрипеть.

Скрипеть, потеть, смягчать кому-то приговор.
Куда удачливее Эрнста Теодор.
Придя домой, преодолая боль в плече,
Он пишет повести ночами при свече.
Он пишет повести, а сердцу все грустней.
Тогда приходит к Теодору Амадей,
Гость удивительный и самый дорогой.
Он, словно Моцарт, машет в воздухе рукой.

На Фридрихштрассе Гофман кофе пьет и ест.
«На Фридрихштрассе», — говорит тихонько Эрнст.
«Ах нет, направо!» — умоляет Теодор.
«Идем налево, — оба слышат, — и во двор».
Играет флейта еле-еле во дворе,
Как будто школьник водит пальцем в букваре,

«Но все равно она, — вздыхает Амадей, —
Судебных записей милей и повестей».

МОНТЕНЬ

Монтень вокруг сиянье льет,
Сверкает череп бритый,
И, значит, вместе с ним живет
Тот брадобрей забытый.

Монтеня душат кружева
На сто второй странице —
И кружевница та жива,
И пальчик жив на спице.

И жив тот малый разбитной,
А с ним его занятье,
Тот недоучка, тот портной,
Расшивший шелком платье.

Едва Монтень раскроет рот,
Чтоб рассказать о чести,
Как вся компания пойдет
Болтать с Монтенем вместе.

Они судачат вкривь и вкось,
Они резвы, как дети.
О лжи. О снах. О дружбе врозь.
И обо всем на свете

* * *

Удивляясь галопу
Кочевых табунов,
Хоронили Европу,
К ней любовь поборов.

Сколько раз хоронили,
Славя конскую статью,
Шею лошади в мыле.
И хоронят опять.

Но полощутся флаги
На судах в тесноте,
И дрожит Копенгаген,
Отражаясь в воде,

И блестят в Амстердаме

Цеховые дома,
Словно живопись в раме
Или вечность сама.

Хорошо, на педали
Потихоньку нажав,
В городок на канале
Въехать, к сердцу прижав

Не сплошной, философский,
Но обычный закат,
Бледно-желтый, чуть жесткий,
Золотящий фасад.

Впрочем, нам и не надо
Уезжать никуда,
Вон у Летнего сада
Розовеет вода,

И у каменных лестниц,
Над петровской Невой,
Ты глядишь, европеец,
На закат золотой.

* * *

Я в плохо проветренном зале
На краешке стула сидел
И, к сердцу ладонь прижимая,
На яркую сцену глядел.

Там пели трехслойные хоры,
Квартет баянистов играл,
И лебедь под скорбные звуки
У рампы раз пять умирал.

Там пляску пускали за пляской,
Летела щепка из-под ног —
И я в перерыве с опаской
На круглый взглянул потолок.

Там был нарисован зеленый,
Весь в райских цветах небосвод,
И ангелы, за руки взявшись,
Нестройный вели хоровод.

Ходили по кругу и пели.
И вид их решительный весь

Сказал мне, что ждут нас на небе
Концерты не хуже, чем здесь.

И господи, как захотелось
На волю, на воздух, на свет,
Чтоб там не плясалось, не пелось,
А главное, музыки нет!

* * *

Танцует тот, кто не танцует,
Ножом по рюмочке стучит.
Гарцует тот, кто не гарцует,
С трибуны машет и кричит.

А кто танцует в самом деле
И кто гарцует на коне,
Тем эти пляски надоели,
А эти лошади — вдвойне!

* * *

Но и в самом легком дне,
Самом тихом, незаметном,
Смерть, как зернышко на дне,
Светит блеском разноцветным.
В рощу, в поле, в свежий сад,
Злей хвоща и молочая,
Проникает острый яд,
Сердце тайно обжигая.

Словно кто-то за кустом,
За сараем, за буфетом
Держит перстень над вином
С монограммой и секретом.
Как черна его спина!
Как блестит на перстне солнце!
Но без этого зерна
Вкус не тот, вино не пьется.

* * *

Два лепета, быть может бормотанья,
Подслушал я, проснувшись, два дыханья.
Тяжелый куст под окнами дрожал,
И мальчик мой, раскрыв глаза, лежал.

Шли капли мимо, плакали на марше.
Был мальчик мал,
куст был намного старше.
Он опыт свой с неведеньем сличил

И первым звукам мальчика учил.

Он делал так: он вздрагивал ветвями
И гнал их вниз, и стлался по земле,
А мальчик то же пробовал губами,
И выходило вроде «ле-ле-ле»

И «ля-ля-ля». Но им казалось: мало!
И куст старался, холодом дыша,
Поскольку между ними не вставала
Та тень, та блажь, по имени душа.

Я тихо встал, испытывая трепет,
Вспугнуть боясь и легкий детский лепет,
И лепетанье листьев под окном —
Их разговор на уровне одном.

* * *

То, что мы зовем душой,
Что, как облако, воздушно
И блестит во тьме ночной
Своенравно, непослушно
Или вдруг, как самолет,
Тоньше колющей булавки,
Корректирует с высот
Нашу жизнь, внося поправки;
То, что с птицей наравне
В синем воздухе мелькает,
Не сгорает на огне,
Под дождем не размокает,
Без чего нельзя вздохнуть,
Ни глупца простить в обиде;
То, что мы должны вернуть,
Умирая, в лучшем виде, —
Это, верно, то и есть,
Для чего не жаль стараться,
Что и делает нам честь,
Если честно разобраться.
В самом деле хороша,
Бесконечно старомодна,
Тучка, ласточка, душа!
Я привязан, ты — свободна.

* * *

Нет, не одно, а два лица,
Два смысла, два крыла у мира.
И не один, а два отца
Взывают к мести у Шекспира.

В Лаэрте Гамлет видит боль,
Как в перевернутом бинокле.
А если этот мальчик — моль,
Зачем глаза его намокли?
И те же складочки у рта,
И так же вещи дома жгутся.
Вокруг такая теснота,
Что невозможно повернуться.
Ты так касаешься плеча,
Что поворот вполоборота,
Как поворот в замке ключа,
Приводит в действие кого-то.
Отходит кто-то второпях,
Поспешно кто-то руку прячет,
И, оглянувшись, весь в слезах,
Ты видишь: рядом кто-то плачет.

* * *

Среди знакомых ни одна
Не бросит в пламя денег пачку,
Не пошатнется, впад в горячку,
В дверях, бледнее полотна.
В концертный холод или сквер,
Разогреваясь понемногу,
Не пронесет, и слава богу,
Шестизарядный револьвер.
Я так и думал бы, что бред
Все эти тени роковые,
Когда б не туфельки шальные,
Не этот, издали, привет.
Разят дешевые духи,
Не хочет сдержанности мудрой,
Со щек стирает слезы с пудрой
И любит жуткие стихи.

РАЗГОВОР

Мне звонят, говорят: — Как живете
— Сын в детсаде. Жена на работе.
Вот сижу, завернувшись в халат.
Дум не думаю. Жду: позвонят.
А у вас что? Содом? Суматоха?
— И у нас, — отвечает, — неплохо.
Муж уехал. — Куда? — На восток.
Вот сижу, завернувшись в платок.
— Что-то нынче и вправду не топят.
Или топливо на зиму копят?

Ну и мрак среди белого дня!
Что-то нынче нашло на меня.
— И на нас, — отвечает, — находит.
То ли жизнь в самом деле проходит,
То ли что... Я б зашла... да потом
Будет плохо. — Спасибо на том.

* * *

Он встал в ленинградской квартире,
Расправив среди тишины
Шесть крыл, из которых четыре,
Я знаю, ему не нужны.
Вдруг сделалось пусто и звонко,
Как будто нам отперли зал.
— Смотри, ты разбудишь ребенка! —
Я чудному гостю сказал.
Вот если бы легкие ночи,
Веселость, здоровье детей...
Но кажется, нет средь пророчеств
Таких несерьезных статей.

ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ

В одной из улочек Москвы,
Засыпанной метелью,
Мы наклонялись, как волхвы,
Над детской колыбелью.
И что-то, словно ореол,
Поблескивало тускло,
Покуда ставились на стол
Бутылки и закуска.
Мы озирали полумглу
И наклонялись снова.
Казалось, шурились в углу
Теленок и корова.
Как будто Гуго ван дер Гус
Нарисовал всё это:
Волхвов, хозяйку с ниткой бус,
В дверях полоску света.
И вообще такой покой
На миг установился:
Не страшен Ирод никакой,
Когда бы он явился.
Весь ужас мира, испокон
Стоящий в отдаленье,
Как бы и впрямь заморожен,
Подался на мгновенье.
Под стать библейской старине

В ту ночь была Волхонка.
Снежок приветствовал в окне
Рождение ребенка.
Оно собрало нас сюда
Проулками, садами,
Сопровождаясь, как всегда,
Простыми чудесами.

ДВА ГОЛОСА

Озирая потемки,
расправляя рукой
с узелками тесемки
на подушке сырой,
рядом с лампочкой
синей не засну в полутьме
на дорожной перине,
на казенном клейме.
— Ты, дорожные знаки
подносящий к плечу,
я сегодня во мраке,
как твой ангел, лечу.
К моему изголовью
подступают кусты.
Помоги мне! С любовью
не справляюсь, как ты.
— Не проси облегченья
от любви, не проси.
Согласись на мученье
и губу прикуси.
Бодрствуй с полночью
вместе, не мечтай разлюбить.
Я тебе на разъезде
посвечу, так и быть.
— Ты, фонарь подносящий,
как огонь к сургучу,
я над речкой и чащей,
как твой ангел, лечу.
Синий свет худосочный,
отраженный в окне,
вроде жилки височной,
не погасшей во мне.
— Не проси облегченья
от любви, его нет.
Поздней ночью — свеченье,
днем — сиянье и свет.
Что весной развлеченье,
тяжкий труд к декабрю.

Не проси облегченья
от любви, говорю.

В ПОЕЗДЕ

Не в силах мне помочь,
летя за мною следом,
пронизывая ночь
дождя холодным светом,
он плачет надо мной,
дымясь среди обочин,
и стекол ряд двойной,
как стеганка, прострочен.
Так плачет только он,
в сырой ночи без края,
цепляясь за вагон,
с запинкой, призывая
на помощь небеса,
листая наш словарик,
и каждая слеза
как маленький фонарик.
Он плачет надо мной,
блестящий дождь глотая,
любовь мою бедой,
виной своей считая,
твердя: "Прости, не плачь" —
и сам в пылу внушенья,
как сердобольный врач,
нуждаясь в утешенье.
Он плачет потому,
что нет конца мученью,
что я кажусь ему
безжизненной тенью;
как с этой стороны
стекла, где сохлась муха,
глаза мои темны,
в них холодно и сухо.

* * *

Жить в городе другом — как бы не жить.
При жизни смерть дана, зовется — расстоянье.
Не торопи меня. Мне некуда спешить.
Летит вагон во тьму. О, смерти нарастанье!
Какое мне письмо докажет: ты жива?
Мне кажется, что ты во мраке таешь, таешь.
Беспомощен привет, бессмысленны слова.
Тебя в разлуке нет, при встрече — оживаешь.

Гремят в промозглой мгле бетонные мосты.
О ком я так томлюсь, в тоске ломая спички?
Теперь любой пустяк действительней, чем ты:
На столике стакан, на летчике петлички.
На свете, где и так всё держится едва,
На ниточке висит, цепляется, вот рухнет,
Кто сделал, чтобы ты жива и нежива
Была, как тот огонь: то вспыхнет, то потухнет?

ПАМЯТИ АННЫ АХМАТОВОЙ

Волна темнее к ночи,
Уключина стучит.
Харон неразговорчив,
Но и она — молчит.
Обшивку руки гладят,
А взгляд, как в жизни, тверд.
Пред нею волны катят
Коцит и Ахеронт.
Давно такого груза
Не поднимал челнок.
Летает с криком Муза,
А ей и невдомек.
Опять она нарядна,
Спокойна, молода.
Легка и чуть прохладна
Последняя беда.
Другую бы дорогу,
В Компьен или Париж...
Но этой, слава богу,
Ее не удивишь.
Свиданьем предстоящим
Взволнована чуть-чуть.
Но дышит грудь не чаще,
Чем в Царском где-нибудь.
Как всякий дух бесплотный
Очерчена штрихом,
Свой путь бесповоротный
Сверяет со стихом.
Плывет она в тумане
Средь чудищ, мимо скал
Такой, как Модильяни
Ее нарисовал.

Вижу, вижу спозаранку
Устремленные в Неву
И Обводный, и Фонтанку,
И похожую на склянку
Речку Кронверку во рву.
И каналов без уздечки
Вижу утреннюю пруть,
Их названья на дощечке,
И смертельной Черной речки
Ускользящую нить.
Слышу, слышу вздох неловкий,
Плач по жизни прожитой,
Вижу Екатерингофки
Блики, отблески, подковки
Жирный отсвет нефтяной.
Вижу серого оттенка
Мойку, женщину и зонт,
Крюков, лезущий на стенку,
Пряжку, Карповку, Смоленку,
Стикс, Коцит и Ахеронт.

* * *

Четко вижу двенадцатый век.
Два-три моря да несколько рек.
Крикнешь здесь — там услышат твой голос.
Так что ласточки в клюве могли
Занести, обогнав корабли,
В Корнуэльс из Ирландии волос.
А сейчас что за век, что за тьма!
Где письмо? Не дожидаться письма.
Даром волны шумят, набегая.
Иль и впрямь европейский роман
Отменен, похоронен Тристан?
Или ласточек нет, дорогая?

СИРЕНЬ

Фиолетовой, белой, лиловой,
Ледяной, голубой, бестолковой
Перед взором предстанет сирень.
Летний полдень разбит на осколки,
Острых листьев блещут треуголки,
И, как облако, стелется тень.
Сколько свежести в ветви тяжелой,
Как стараются важные пчелы,
Допотопная блещет краса!

Но взглядишь в эти вспышки и блески:
Здесь уже побывал Кончаловский,
Трогал кисти и щурил глаза.
Тем сильнее у забора с канавкой
Восхищение наше, с поправкой
На тяжелый музейный букет,
Нависающий в желтой плетенке
Над столом, и две грозди в сторонке,
И от локтя на скатерти след.

СТОГ

Б.Я.Бухштабу

*На стоге сена ночью южной
Лицом ко тверди я лежал
А. Фет*

Я к стогу сена подошел.
Он с виду ласковым казался.
Я боком встал, плечом повел,
Так он кололся и кусался.
Он горько пахнул и дышал,
Весь колыхался и дымился.
Не знаю, как на нем лежал
Тяжелый Фет? Не шевелился?
Ползли какие-то жучки
По рукавам и отворотам,
И запотевшие очки
Покрылись шелковым налетом.
Я гладил пыль, ласкал труху,
Я порывался в жизнь иную,
Но бога не было вверху,
Чтоб оправдать тщету земную.
И голый ужас, без одежд,
Сдавив, лишил меня движений.
Я падал в пропасть без надежд,
Без звезд и тайных утешений.
Ополоумев, облака
Летели, серые от страха.
Чесалась потная рука,
Блестела мокрая рубаха.
И в целом стоге под рукой,
Хоть всей спиной к нему прижаться,
Соломки не было такой,
Чтоб, ухватившись, задержаться!

* * *

Еще чего, гитара!
Засученный рукав.
Любезная отравка.
Засунь ее за шкаф.
Пускай на ней играет
Григорьев по ночам,
Как это подобает
Разгульным москвичам.
А мы стиху сухому
Привержены с тобой.
И с честью по-другому
Справляемся с бедой.
Дымок от папиросы
Да ветреный канал,
Чтоб злые наши слезы
Никто не увидал.

* * *

Жизнь чужую прожив до конца,
Умерев в девятнадцатом веке,
Смертный пот вытирая с лица,
Вижу мельницы, избы, телеги.
Биографии тем и сильны,
Что обнять позволяют за сутки
Двух любовниц, двух жен, две войны
И великую мысль в промежутке.
Пригождайся нам, опыт чужой,
Свет вечерний за полостью пыльной,
Тишина, пять-шесть строф за душой
И кусты по дороге из Вильны.
Даже беды великих людей
Дарят нас прибавлением жизни,
Звездным небом, рысцой лошадей
И вином, при его дешевизне.

* * *

Казалось бы, две тьмы,
В начале и в конце,
Стоят, чтоб жили мы
С тенями на лице.
Но не сравним густой
Мрак, свойственный гробам,
С той дружелюбной тьмой,
Предшествовавшей нам.

Я с легкостью смотрю
На снимок давних лет.
"Вот кресло, — говорю, —
Меня в нем только нет".
Но с ужасом гляжу
За черный тот предел,
Где кресло нахожу,
В котором я сидел.

* * *

На Мойке жил один старик.
Я представляю горы книг.
Он знал того, он знал другого.
Но всё равно, не потому
Приятель звал меня к нему
Меж делом, бегло, бестолково.
А потому, что, по словам
Приятеля, обоим нам
Была бы в радость встреча эта.
— Вы б столкнувались в тот же миг:
Одна печаль, один язык
И тень забытого поэта!
Я собирался много раз,
Но дождь, дела и поздний час,
Я мрачен, он нерасположен.
И вот я слышу: умер он.
Визит мой точно отменен.
И кто мне скажет, что отложен?

* * *

Зачем Ван-Гог вихреобразный
Томит меня точкой неясной?
Как желт его автопортрет!
Перевязав больное ухо,
В зеленой куртке, как старуха,
Зачем глядит он мне вослед?
Зачем в кафе его полночном
Стоит лакей с лицом порочным?
Блестит бильярд без игроков?
Зачем тяжелый стул поставлен

Так, что навек покой отравлен,
Ждешь слез и стука башмаков?
Зачем он с ветром в крону дует?
Зачем он доктора рисует
С нелепой веточкой в руке?
Куда в косом его пейзаже
Без седока и без поклажи
Спешит коляска налегке?

ПУТЕШЕСТВИЕ

Что-то мне волны лазурные снятся,
Катятся, ластятся, жмутся, теснятся,
Мчатся назад и в обход.
Нет, не привычное Черное море,
А миражи в незнакомом просторе,
Белый, как соль, пароход.
Плыть? Но куда? На огней вереницу.
В Геную, Падую, Специю, Ниццу.
Что там, не видно ль земли?
Странно: в глаза не глядят мне матросы.
Крепко натянуты мощные тросы.
Нет, не Везувий вдали.
Припоминаю, что был уже случай.
Мне отвечают: "Себя ты не мучай,
Детские страхи откинь".
Нет, не в Италии мы и не в Польше.
Что-то мне это не нравится больше:
Гладь не такая и синь.
Так Баратынский с его пироскафом
Думал увидеть, как мячик за шкафом,
Влажный Элизий земной,
Башни Ливурны, а ждал его тесный
Ящик дубовый, Элизий небесный,
Серый кладбищенский зной.

БУКВЫ

В латинском шрифте, видим мы,
Сказались римские холмы
И средиземных волн барашки,
Игра чешуек и колец.
Как бы ползут стада овец,
Пастух вино сосет из фляжки.
Зато грузинский алфавит
На черенки мечом разбит
Иль сам упал с высокой полки.
Чуть дрогнет утренний туман —

Илья, Паоло, Тициан
Сбирают круглые осколки.
А в русских буквах "же" и "ша"
Живет размашисто душа,
Метет метель, шумя и пенясь.
В кафтане бойкий ямщикок,
Удал, хмелен и краснощек,
Лошадкой правит, подбоченясь.
А вот немецкая печать,
Так трудно буквы различать,
Как будто марбургские крыши.
Густая готика строки.
Ночные окрики, шаги.
Не разбудить бы! Тише! тише!
Летит еврейское письмо.
Куда? — Не ведает само,
Слова написаны, как ноты.
Скорее скрипочку хватай,
К щеке платочек прижимай,
Не плачь, играй... Ну что ты? Что ты?

ПРИМЕТЫ

Еще клубился полумрак,
Шли складки по белью,
Был рай обставлен кое-как,
Похож на жизнь мою.
Был стул с одеждой под рукой,
Дрожала ветвь в окне,
И кто-то влажною щекой
В плечо уткнулся мне.
Немного их, струящих свет
На мировом ветру
Опознавательных примет
Твоей судьбы в миру!
Но всё — стола потертый лак
И стула черный сук —
Шептало мне: не нужно так
Отчаиваться, друг.
Не потому, что есть намек
Иль тайный знак уму,
А так, всем смыслам поперек.
Никак, нипочему.

* * *

И если в ад я попаду,
Есть наказание в аду

И для меня: не лед, не пламя!
Мгновенья те, когда я мог
Рискнуть, но стыл и тер висок,
Опять пройдут перед глазами.
Всё счастье, сколько упустил,
В саду, в лесу и у перил,
В пути, в гостях и темном море...
Есть казнь в аду таким, как я:
То рай прошедшего житья,
Тоска о смертном недоборе.

* * *

Вот сижу на шатком стуле
В тесной комнате моей,
Пью вино напареули,
Что осталось от гостей.
Мы печальны — что причиной?
Нас не любят — кто так строг.
Всей спиною за гардиной
Белый чувствую снежок.
На подходе зимний праздник,
Хвоя, вата, серпантин.
С каждым годом всё прекрасней
Снег и запах легких вин.
И любовь от повторенья
Не тускнеет, просто в ней
Больше знанья и терпенья
И немислимых вещей.

* * *

Скатерть, радость, благодать!
За обедом с провололочкой
Под столом люблю сгибать
Край ее с машинной строчкой.
Боже мой! Еще живу!
Всё могу еще потрогать
И каемку, и канву,
И на стол поставить локоть!
Угол скатерти в горсти.
Даже если это слабость,
О бессмыслица, блести!
Не кончайся, скатерть, радость!

СЕМИДЕСЯТЫЕ

Из книг «Письмо» «Прямая речь» «Голос»

* * *

Эти вечные счета, расчеты, долги
И подсчеты, подсчеты.
Испещренные цифрами черновики.
Наши гении, мученики, должники.
Рифмы, рядом — расходы.
То ли в карты играл? То ли в долг занимал?
Было пасмурно, осень.
Век железный — зато и презренный металл.
Или рощу сажал и считал, и считал,
Сколько высадил елей и сосен?
Эта жизнь так нелепо и быстро течет!
Покажи, от чего начинать нам отсчет,
Чтоб не сделать ошибки?
Стих от прозы не бегаёт, наоборот!
Свет осенний и зыбкий.
Под высокими окнами, бурей гоним,
Мчится клен, и высоко взлетают над ним
Медных листьев тройчатки.
К этим сотням и тысячам круглым твоим
Приплюсуем десятки.
Снова дикая кошка бежит по пятам
Приближается время платить по счетам
Всё страшней ее взгляды:
Забегает вперед, прижимает к кустам —
И не будет пощады.
Всё равно эта жизнь и в конце хороша,
И в долгах, и в слезах, потому что свежа!
И послушная рифма,
Выбегая на зов, и легка, как душа,
И точна, точно цифра!

* * *

Снег подлетает к ночному окну,
Вьюга дымится.
Как мы с тобой угадали страну,
Где нам родиться!
Вьюжная. Ватная. Снежная вся.
Давит на плечи.
Но и представить другую нельзя
Шубу, полегче.
Гоголь из Рима нам пишет письмо,
Как виноватый.
Бритвой почтовое смотрит клеймо

Продолговатой.
Но и представить другое нельзя
Поле, поуже.
Доблести, подлости, горе, семья,
Зимы и дружбы.
И англичанин, что к нам заходил,
Строгий, как вымпел,
Не понимал ничего, говорил
Глупости, выпив.
Как на дитя, мы тогда на него
С грустью смотрели.
И доставали плеча твоего
Крылья метели.

СОН

Я ли свой не знаю город?
Дождь пошел. Я поднял ворот.
Сел в трамвай полупустой.
От дороги Турухтанной
По Кронштадтской... вид туманный...
Стачек, Трефолева... стой!
Как по плоскости наклонной,
Мимо темной Оборонной.
Всё смешалось... не понять...
Вдруг трамвай свернул куда-то,
Мост, канал, большого сада
Темень, мост, канал опять.
Ничего не понимаю!
Слева тучу обгоняю,
Справа в тень ее вхожу,
Вижу пасмурную воду,
Зелень, темную с исподу,
Возвращаюсь и кружу.
Чья ловушка и причуда?
Мне не выбраться отсюда!
Где Фонтанка? Где Нева?
Если это чья-то шутка,
Почему мне стало жутко
И слабеет голова?
Этот сад меня пугает,
Этот мост не так мелькает,
И вода не так бежит,
И трамвайный бег бесстрастный
Приобрел уклон опасный,
И рука моя дрожит.
Вид у нас какой-то сирый.
Где другие пассажиры?

Было ж несколько старух!
Никого в трамвае нету.
Мы похожи на комету,
И вожатый слеп и глух.
Вровень с нами мчатся рядом
Все, кому мы были рады
В прежней жизни дорогой.
Блещут слезы их живые,
Словно капли дождевые.
Плачут, машут нам рукой.
Им не видно за дождями,
Сколько встало между нами
Улиц, улочек и рек.
Так привозят в парк трамвайный
Не заснувшего случайно,
А уснувшего навек.

* * *

Кто-то плачет всю ночь.
Кто-то плачет у нас за стеною.
Я и рад бы помочь —
Не пошлет тот, кто плачет, за мною.
Вот затих. Вот опять.
"Спи, — ты мне говоришь, — показалось".
Надо спать, надо спать.
Если б сердце во тьме не сжималось!
Разве плачут в наш век?
Где ты слышал, чтоб кто-нибудь плакал?
Суше не было век.
Под бесслезным мы выросли флагом.
Только дети — и те,
Услыхав: "Как не стыдно?" — смолкают.
Так лежим в темноте.
Лишь часы на столе подтекают.
Кто-то плачет вблизи.
"Спи, — ты мне говоришь, — я не слышу".
У кого ни спроси —
Это дождь задевает за крышу.
Вот затих. Вот опять.
Словно глубже беду свою прячет.
А начну засыпать —
"Подожди, — говоришь, — кто-то плачет!"

* * *

Человек привыкает
Ко всему, ко всему.

Что ни год получает
По письму, по письму.
Это в белом конверте
Ему пишет зима.
Обещанье бессмертья —
Содержанье письма.
Как красив ее почерк!
Не сказать никому.
Он читает листочек
И не верит ему.
Зимним холодом дышит
У реки, у пруда.
И в ответ ей не пишет
Никогда, никогда.

* * *

Конверт какой-то странный, странный,
Как будто даже самодельный,
И штемпель смазанный, туманный,
С пометкой давности недельной,
И марка странная, пустая,
Размытый образ захолустья:
Ни президента Уругвая,
Ни Темзы, — так, какой-то кустик.
И буква к букве так теснятся,
Что почерк явно засекречен.
Внизу, как можно догадаться,
Обратный адрес не помечен.
Тихонько рву конверт по краю
И на листе бумаги плотном
С трудом по-русски разбираю
Слова в смятенье безотчетном.
"Мы здесь собрались кругом тесным
Тебя заверить в знак вниманья
В размытом нашем, повсеместном,
Ослабленном существованье.
Когда ночами (бред какой-то!)
Воюет ветер с темным садом,
О всех не скажем, но с тобой-то,
Молчи, не вздрагивай, мы рядом.
Не спи же, вглядывайся зорче,
Нас различай поодиночке".
И дальше почерк неразборчив,
Я пропускаю две-три строчки.
"Прощай! Чернила наши блеклы,
А почта наша ненадежна,

И так в саду листва намокла,
Что шага сделать невозможно".

* * *

Ну прощай, прощай до завтра,
Послезавтра, до зимы.
Ну прощай, прощай до марта.
Зиму порознь встретим мы.
Порознь встретим и проводим.
Ну прощай до лучших дней.
До весны. Глаза отводим.
До весны. Еще поздней.
Ну прощай, прощай до лета.
Что ж перчатку теревить?
Ну прощай до как-то, где-то,
До когда-то, может быть.
Что ж тянуть, стоять в передней.
Да и можно ль быть точней?
До черты прощай последней,
До смертельной. И за ней.

* * *

Я к ночным облакам за окном присмотрюсь,
Отодвинув суровую штору.
Был я счастлив — и смерти боялся. Боюсь
И сейчас, но не так, как в ту пору.
Умереть — это значит шуметь на ветру
Вместе с кленом, глядящим понуро.
Умереть — это значит попасть ко двору
То ли Ричарда, то ли Артура.
Умереть — расколоть самый твердый орех,
Все причины узнать и мотивы.
Умереть — это стать современником всех,
Кроме тех, кто пока еще живы.

* * *

Расположение вещей
На плоскости стола,
И преломление лучей,
И синий лед стекла.
Сюда — цветы, тюльпан и мак,
Бокал с вином — туда.
"Скажи, ты счастлив?" — "Нет". — "А так?"
"Почти".- "А так?" — "О да!"

* * *

Пришла ко мне гостья лихая,
Как дождь, зарядивший с утра.
Спросил ее: — Кто ты такая?
Она отвечает: — Хандра.
— Послушай, в тебя я не верю.
— Ты Пушкина плохо читал.
— Ты веком ошиблась и дверью.
Я, видимо, просто устал.
— Все так говорят, что устали,
Пока привыкают ко мне.
Я вместо любви и печали,
Как дождь, зарядивший в окне.
О, хмурое, злое соседство...
Уеду, усну, увильну...
Ведь есть же какое-то средство.
Она отвечает: — Ну-ну!

* * *

Какое счастье, благодать
Ложиться, укрываться,
С тобою рядом засыпать,
С тобою просыпаться!
Пока мы спали, ты и я,
В саду листва шумела
И с неба темные края
Сверкали то и дело.
Пока мы спали, у стола
Чудак с дремотой спорил,
Но спал я, спал, и ты спала,
И сон всех ямбов стоил.
Мы спали, спали... Наравне
С любовью и бессмертьем
Давалось даром то во сне,
Что днем — сплошным усердьем.
Мы спали, спали, вопреки,
Наперекор, вникали
В узоры сна и завитки,
В детали, просто спали.
Всю ночь. Прильнув к щеке щекой.
С доверчивостью птичьей.
И в беззащитности такой
Сходило к нам величье.
Всю ночь в наш сон ломился гром,
Всю ночь он ждал ответа:

Какое счастье — сон вдвоем,
Кто нам позволил это?

* * *

Уходит лето. Ветер дует так,
Что кажется, не лето — жизнь уходит,
И ежится, и ускоряет шаг,
И плечиком от холода поводит.
По пням, по кочкам, прямо по воде.
Ей зимние не по душе заботы.
Где дом ее? Ах, боже мой, везде!
Особенно, где синь и пароходы.
Уходит свет. Уходит жизнь сама.
Прислушайся в ночи: любовь уходит,
Оставив осень в качестве письма,
Где доводы последние приводит.
Уходит муза. С кленов, с тополей
Летит листва, летят ей вслед стрекозы.
И женщины уходят всё быстрее,
Почти бегом, опережая слезы.

* * *

О слава, ты так же прошла за дождями,
Как западный фильм, не увиденный нами,
Как в парк повернувший последний трамвай, —
Уже и не надо. Не стоит. Прощай!
Сломалась в дороге твоя колесница,
На юг улетела последняя птица,
Последний ушел из Невы теплоход.
Я вышел на Мойку: зима настает.
Нас больше не мучит желание славы,
Другие у нас представленья и нравы,
И милая спит, и в ночной тишине
Пусть ей не мешает молва обо мне.
Снежок выпадает на город туманный.
Замерз на афише концерт фортепьянный.
Пружины дверной глуховатый щелчок.
Последняя рифма стучится в висок.
Простимся без слов, односложно и сухо.
И музыка медленно выйдет из слуха,
Как после купанья вода из ушей,
Как маленький, теплый, щекотный ручей.

ВМЕСТО СТАТЬИ О ВЯЗЕМСКОМ

Я написать о Вяземском хотел,
Как мрачно исподлобья он глядел,
Точнее, о его последнем цикле.

Он жить устал, он прозябать хотел.
Друзья уснули, он осиротел;
Те умерли вдали, а те погибли.
С утра надев свой клетчатый халат,
Сидел он в кресле, рифмы невпопад
Дразнить его под занавес являлись.
Он видел: смерть откладывает срок.
Вздыхал над ним злопамятливый бог,
И музы, приходя, его боялись.
Я написать о Вяземском хотел,
О том, как в старом кресле он сидел,
Без сил, задув свечу, на пару с нею.
Какие тени в складках залегли,
Каким поэтом мы пренебрегли,
Забыв его, но чувствую: мрачнею.
В стихах своих он сам к себе жесток,
Сочувствия не ищет, как листок,
Что корчится под снегом, леденея.
Я написать о Вяземском хотел,
Еще не начал, тут же охладел
Не к Вяземскому, а к самой затее.
Он сам себе забвенью предсказал,
И кажется, что зла себе желал
И медленно сживал себя со свету
В такую тьму, где слова не прочесть.
И шепчет мне: оставим всё как есть.
Оставим всё как есть: как будто нету.

ПОЙДЕМ ЖЕ ВДОЛЬ МОЙКИ, ВДОЛЬ МОЙКИ...

Пойдем же вдоль Мойки, вдоль Мойки,
У стриженных лип на виду,
Глотая туманный и стойкий
Бензинный угар на ходу,
Меж Марсовым полем и садом
Михайловским, мимо былых
Конюшен, широким обхватом
Державших лошадок лихих.
Пойдем же! Чем больше названий,
Тем стих достоверней звучит,
На нем от решеток и зданий
Тень так безупречно лежит.
С тыняновской точной подсказкой
Пойдем же вдоль стен и колонн,
С лексической яркой окраской
От собственных этих имен.
Пойдем по дуге, по изгибу,
Где плоская, в пятнах, волна

То тучу качает, как рыбу,
То с вазами дом Фомина,
Пойдем мимо пушкинских окон,
Музейных подобранных штор,
Минуем Капеллы широкой
Овальный, с афишами, двор.
Вчерашние лезут билеты
Из урн и подвальных щелей.
Пойдем, как по берегу Леты,
Вдоль окон пойдем и дверей,
Вдоль здания Главного штаба,
Его закулисной стены,
Похожей на желтого краба
С клешней непомерной длины.
Потом через Невский, с разбегу,
Всё прямо, не глядя назад,
Пойдем, заглядевшись на реку
И Строганов яркий фасад,
Пойдем, словно кто-то однажды
Уехал иль вывезен был
И умер от горя и жажды
Без этих колонн и перил.
И дальше, по левую руку
Узнав Воспитательный дом,
Где мы проходили науку,
Вдоль черной ограды пойдем,
И, плавясь на шпиле от солнца,
Пускай в раздвижных небесах
Корабль одинокий несется,
Несется на всех парусах.
Как ветром нас тянет и тянет.
Длинноты в стихах не любя,
Ты шепчешь: читатель устанет! —
Не бойся, не больше тебя!
Он, ветер вдыхая холодный,
Не скажет тебе, может быть,
Где счастье прогулки свободной
Ему помогли полюбить.
Пойдем же по самому краю
Тоски, у зеленой воды,
Пойдем же по аду и раю,
Где нет между ними черты,
Где памяти тянется свиток,
Развернутый в виде домов,
И столько блаженства и пыток,
Двузначных больших номеров.
Дом Связи — как будто коробка
И рядом еще коробок.

И дом, где на лестнице робко
Я дергал висячий звонок.
И дом, где однажды до часу
В квартире чужой танцевал.
И дом, где я не был ни разу,
А кажется, жил и бывал.
Ну что же? Юсуповский желтый
Остался не назван дворец
Да словно резинкой подтертый
Голландии Новой багрец.
Любимая! Сколько упорства,
Обид и зачеркнутых строк,
Отчаянья, противоборства
И гребли, волнам поперек!
Твою ненаглядную руку
Так крепко сжимая в своей,
Я всё отодвинуть разлуку
Пытаюсь, но помню о ней..
И может быть, это сверканье
Листвы, и дворцов, и реки
Возможно лишь в силу страданья
И счастья, ему вопреки!

НАШИ ПОЭТЫ

Конечно, Баратынский схематичен.
Бесстильность Фета всякому видна.
Бдлок по-немецки втайне педантичен.
У Анненского в трауре весна.
Цветаевская фанатична муза.
Ахматовой высокопарен слог.
Кузмин манерен. Пастернаку вкуса
Недостает: болтливость — вот порок.
Есть вычурность в строке у Мандельштама.
И Заболоцкий в сердце скуповат.
Какое счастье — даже панорама
Их недостатков, выстроенных в ряд!

* * *

Быть нелюбимым! боже мой!
Какое счастье быть несчастным!
Идти под дождиком домой
С лицом потерянным и красным.
Какая мука, благодать
Сидеть с закушенной губою,
Раз десять на день умирать
И говорить с самим собою.

Какая жизнь — сходить с ума!
Как тень, по комнате шататься!
Какое счастье — ждать письма
По месяцам — и не дожидаться.
Кто нам сказал, что мир у ног
Лежит в слезах, на всё согласен?
Он равнодушен и жесток.
Зато воистину прекрасен.

* * *

Возьми меня, из этих комнат вынь,
Сдунь с площадей, из-под дворовых арок,
Засунь меня куда-нибудь, задвинь,
Возьми назад бесценный свой подарок!
Смахни совсем. Впиши меня в графу
Своих расходов в щедром мире этом.
Я — чокнутый, как рюмочка в шкафу
Надтреснутая. Но и ты — с приветом!

* * *

Прощай, любовь!
Прощай, любовь, была ты мукой.
Платочек белый приготовь
Перед разлукой
И вытюжь, и скомкай вновь.
Какой пример,
Какой пример для подражания
Мы выберем, какой размер?
Я помню чудное желанье
И пыль гостиничных портьер.
Не помню, жаль.
Не помню, — жаль, оса, впивайся.
Придумать точную деталь
И, приукрася,
Надсаду выдать за печаль?
Сорваться в крик?
Сорваться в крик, в тоске забиться?
Я не привык.
И муза громких слов стыдится.
В окне какой-то писк возник.
Кричит птенец.
Кричит птенец, сломавший шею.
За образец
Прощание по Хемингуэю
Избрать? Простились — и конец?
Он в свитерке,

Он в свитерке по всем квартирам
Висел, с подтекстом в кулаке.
Теперь уже другим кумиром
Сменен, с Лолитой в драмкружке.
Из всех услад,
Из всех услад одну на свете
Г. Г. ценил, раскрыв халат.
Над ним стареющие дети,
Как злые гении, парят.
Прощай, старушка, этот тон,
Мне этот тон полупристойный
Претит, ты знаешь, был ли он
Мне свойствен или жест крамольный.
Я был влюблен.
Твоей руки,
Твоей руки рукой коснуться
Казалось счастьем, вопреки
Всем сексуальным революциям.
Прощай. Мы станем старики.
У нас в стране,
У нас в стране при всех обидах
То хорошо, что ветвь в окне,
И вздох, и выдох,
И боль, и просто жизнь — в цене.
А нам с тобой,
А нам с тобой вдвоем дышалось
Вольней, и общею судьбой
Вся эта даль и ширь казалась —
Не только чай и час ночной.
Отныне — врозь.
Припоминаю шаг твой встречный
И хвостик заячий волос.
На волос был от жизни вечной,
Но — сорвалось!
Когда уснем,
Когда уснем смертельным, мертвым,
Без воскрешений, общим сном,
Кем станем мы? Рисунком стертым.
Судьба, других рисуй на нем.
Поэты тем
И тяжелы, что всенародно
Касаются сердечных тем.
Молчу, мне стыдно, ты свободна.
На радость всем.
"Любовь свободна, мир чаруя,
Она законов всех сильнее".
Певица толстая, ликуя,
Покрыта пудрой, как статуя.

И ты — за ней?
Пускай орет на всю округу.
Считаться — грех.
Помашем издали друг другу.
Ты и сейчас, отдернув руку,
Прекрасней всех!

В КАФЕ

В переполненном, глухо гудящем кафе
Я затерян, как цифра в четвертой графе,
И обманут вином тепловатым.
И сосед мой брезглив и едой утомлен,
Мельхиоровым перстнем любитесь он
На мизинце своем волосатом.
Предзакатное небо висит за окном
Пропускающим воду сырым полотном,
Луч, прорвавшись, крадет к соседу,
Его перстень горит самоварным огнем.
"Может, девочек, — он говорит, — позовем?"
И скучает: "хорошеньких нету".
Через миг погружается вновь в полутьму.
Он молчит, так как я не ответил ему.
Он сердит: рассчитаться бы, что ли?
Не торопится к столику официант,
Поправляет у зеркала узенький бант.
Я на перстень гляжу поневоле.
Он волшебный! хозяин не знает о том.
Повернуть бы на пальце его под столом —
И, пожалуйста, синее море!
И коралловый риф, что вскипал у Моне
На приехавшем к нам погостить полотне,
В фиолетово-белом уборе.
Повернуть бы еще раз — и в Ялте зимой
Оказаться, чтоб угольщик с черной каймой
Шел к причалу, как в траурном крепе.
Снова луч родничком замерцал и забил,
Этот перстень... на рынке его он купил,
Иль работает сам в ширпотребе?
А как в третий бы раз, не дыша, повернуть
Этот перстень — но страшно сказать что-нибудь:
Всё не то или кажется — мало!
То ли рыжего друга в дверях увидеть?
То ли этого типа отсюда убрать?
То ли юность вернуть для начала?

* * *

В тот год я жил дурными новостями,
Бедой своей, и болью, и виною.
Сухими, воспаленными глазами
Смотрел на мир, мерцавший предо мною.
И мальчик не заслуживал вниманья,
И дачный пес, позевывавший нервно.
Трагическое мирозерцанье
Тем плохо, что оно высокомерно.

* * *

Исследовав, как Критский лабиринт,
Все закоулки мрачности, на свет
Я выхожу, разматывая бинт.
Вопросов нет.

Подсохла рана.
И слезы высохли, и в мире — та же сушь.
И жизнь м не кажется, когда встаю с дивана,
Улиткой с рожками, и вытекшей к тому ж.

От Минотавра
Осталась лужица, точнее, тень одна.
И жизнь мне кажется отложенной на завтра,
На послезавтра, на другие времена.

Она понадобится там, потом, кому-то,
И снова кто-нибудь, разбуженный листвой,
Усмотри чудо
В том, что пружинкою свернулось заводной.

Как в погремушке, в раковине слуха
Обида ссохшаяся дням теряет счет.
Пусть смерть-старуха
Ее оттуда с треском извлечет.

Звонит мне под вечер приятель, дую в трубку.
Плохая слышимость. Всё время рвется нить.
«Читать наскучило. И к бабам лезть под юбку.
Как дальше жить?»

О жизнь, наполненная смыслом и любовью,
Хлынь в эту паузу, блесни еще хоть раз
Страной ли, музою, припавшей к изголовью,
Постой у глаз
Водою в шлюзе,

Всё прибывающей, с буксиром на груди.
Высоким уровнем. Системою иллюзий.
Еще какой-нибудь миражик заведи.

* * *

Слово "нервный" сравнительно поздно
Появилось у нас в словаре
У некрасовской музы нервнойной
В петербургском промозглом дворе.
Даже лошадь нервически скоро
В его желчном трехсложнике шла,
Разночинная пылкая ссора
И в любви его темой была.
Крупный счет от модистки, и слезы,
И больной, истерический смех.
Исторически эти невроты
Объясняются болью за всех,
Переломным сознанием и бытом.
Эту нервность, и бледность, и пыл,
Что неведомы сильным и сытым,
Позже в женщинах Чехов ценил,
Меж двух зол это зло выбирая,
Если помните... ветер в полях,
Коврин, Таня, в саду дымовая
Горечь, слезы и черный монах.
А теперь и представить не в силах
Ровной жизни и мирной любви.
Что однажды блеснуло в чернилах,
То навеки осталось в крови.
Всех еще мы не знаем резервов,
Что еще обнаружат, бог весть,
Но спроси нас: — Нельзя ли без нервов?
— Как без нервов, когда они есть!

Наши ссоры. Проклятые тряпки.
Сколько денег в июне ушло!
— Ты припомнил бы мне еще тапки.
— Ведь девятое только число, —
Это жизнь? Между прочим, и это.
И не самое худшее в ней.
Это жизнь, это душное лето,
Это шорох густых тополей,
Это гулкое хлопанье двери,
Это счастья неприбранный вид,
Это, кроме высоких материй,
То, что мучает всех и роднит.

* * *

Времена не выбирают,
В них живут и умирают.
Большой пошлости на свете
Нет, чем клянчить и пенять.
Будто можно те на эти,
Как на рынке, поменять.
Что ни век, то век железный.
Но дымится сад чудесный,
Блещет тучка; я в пять лет
Должен был от скарлатины
Умереть, живи в невинный
Век, в котором горя нет.
Ты себя в счастливцы прочишь,
А при Грозном жить не хочешь?
Не мечтаешь о чуме
Флорентийской и проказе?
Хочешь ехать в первом классе,
А не в трюме, в полутьме?
Что ни век, то век железный.
Но дымится сад чудесный,
Блещет тучка; обниму
Век мой, рок мой на прощанье.
Время — это испытанье.
Не завидуй никому.
Крепко тесное объятье.
Время — кожа, а не платье.
Глубока его печать.
Словно с пальцев отпечатки,
С нас — его черты и складки,
Приглядевшись, можно взять.

* * *

Заснешь и проснешься в слезах от печального сна.
Что ночью открылось, то днем еще не было ясно.
А формула жизни добыта во сне, и она
Ужасна, ужасна, ужасна, прекрасна, ужасна.
Боясь себя выдать и вздохом беду разбудить,
Лежит человек и тоску со слезами глотает,
Вжимаясь в подушку; глаза что открыть, что закрыть —
Темно одинаково; ветер в окно залетает.
Какая-то тень эту темень проходит насквозь,
Не видя его, и в ладонях лицо свое прячет.
Лежит неподвижно: чего он хотел, не сбылось?
Сбылось, но не так, как хотелось? Не скажет. Он плачет.
Под шорох машин, под шумок торопливых дождей
Он ищет подобье близости, в том, что привычно,

Не смея и думать, что всех ему ближе Орфей,
Когда тот пошел, каменея, к Харону вторично.
Уже заплетаясь, готовый в тумане пропасть,
А ветер за шторами горькую пену взбивает,
И эту прекрасную, пятую, может быть, часть,
Пусть пятидесятую, пестует и раздувает.

* * *

Сквозняки по утрам в занавесках и шторах
Занимаются лепкою бюстов и торсов.
Как мне нравится хлопанье это и шорох,
Громоздящийся мир уранид и колоссов.
В полотняном плену то плечо, то колено
Проступают, и кажется: дыбятся в схватке,
И пытаются в комнату выйти из плена,
И не в силах прорвать эти пленки и складки.
Мир гигантов, несчастных в своем ослепленье,
Обреченных всё утро вспухать пузырями,
Опадать и опять, становясь на колени,
Проступать, прилипая то к ручке, то к раме.
О, пергамский алтарь на воздушной подкладке!
И не надо за мрамором в каменоломни
Лезть; всё утро друг друга кладут на лопатки,
Подминают, и мнут, и внушают: запомни.
И всё утро, покуда ты нежишься, сонный,
В милосердной ночи залечив свои раны,
Там, за шторой, круглясь и толпясь, как колонны,
Напрягаются, спорят и гибнут титаны.

* * *

Придешь домой, шурша плащом,
Стирая дождь со щек:
Таинственна ли жизнь еще?
Таинственна еще.
Не надо призраков, теней:
Темна и без того.
Ах, проза в ней еще странней,
Таинственней всего.
Мне дорог жизни крупный план,
Неровности, озноб
И в ней увиденный изъян,
Как в сильный микроскоп.
Биолог скажет, винт кружа,
Что взгляда не отвести.
— Не знаю, есть ли в нас душа,
Но в клетке, — скажет, — есть.

И он тем более смущен,
Что в тайну посвящен.
Ну, значит, можно жить еще.
Таинственна еще.
Придешь домой, рука в мелу,
Как будто подпирал
И эту ночь, и эту мглу,
И каменный портал.
Нас учат мрамор и гранит
Не поминать обид,
Но помнить, как листва летит
К ногам кариатид.
Как мир качается — держись!
Уж не листву ль со щек
Смахнуть решили, сделав жизнь
Таинственной еще?

* * *

Вот женщина: подбор и платья вырез милый.
Нам кажется, что с ней при жизни мы в раю.
Но с помощью ее невидимые силы
Замысливают боль, лелея смерть твою.
Иначе было им к тебе не подступиться,
И ты прожить всю жизнь в неведении мог.
А так любая вещь: заколка, рукавица —
Вливают в сердце яд и мучат, как ожог.
Подрагиванье век и сердца содроганье,
И веточка в снегу нахохлилась, дрожа,
И жаль ее, себя и всех. Зато в страданье,
Как в щелочной воде, отбелится душа.
Не спрашивай с нее: она не виновата,
Своих не слышит слов, не знает, что творит,
Умна она, добра, и зла, и глуповата,
И нравится себе, и в зеркальце глядит.

МУЖЧИНА С РОЗОЙ

Мужчина с розой на портрете,
Ее он держит меж двух пальцев
За стебель гибкий и точеный,
Перевернув к себе затылком, —
Молодцевато и брезгливо,
Как все мужчины.
Что он мужчина, нет сомнений.
Напрасно б венский аналитик
Старался розу допросить
С пристрастьем: нет ли фетишизма,
Инверсионных отклонений, —

Их нет, им неоткуда быть.
К тому же, роза бессловесна,
Полузамучена верчением
В руке, не помнит, где мучитель,
Где стол, где кресло, где букет.
В кафтане, с пышными усами,
Мужчина с розой полумертвой
Глядит, не зная, что с ней делать.
Вдохнуть тончайший аромат
Ему и в голову, конечно,
Прийти не может (то ли дело —
Сорвать и даме поднести!).
Так и должны себя вести,
Так и должны чуть-чуть небрежно
Мужчины к жизни относиться,
К ее придушенной красе,
Как этот славный офицер
(тут нету места укоризне), —
Чуть-чуть неловко, неумело,
Затем что нечто, кроме жизни,
Есть: долг и доблесть, например.

* * *

Любил — и не помнил себя, пробудясь,
Но в памяти имя любимой всплывало,
Два слога, как будто их знал отродясь,
Как если бы за ночь моим оно стало;
Вставал, машинально смахнув одеяло.
И отдых кончался при мысли о ней,
Недолог же он! И опять — наважденье.
Любил — и казалось: дойти до дверей
Нельзя, раза три не войдя в искушение
Расстаться с собой на виду у вещей.
И старый норвежец, учивший вражде
Любовной еще наших бабушек, с полки
На стол попадал и читался в беде
Запойней, чем новые; фьорды и елки,
И прорубь, и авторский взгляд из-под челки.
Воистину мир этот слишком богат,
Ему нипочем разоренные гнезда.
Ах, что ему наш осуждающий взгляд!
Горят письма, и срываются звезды,
И заморозки забираются в сад.
Любил — и стоял к механизму пружин
Земных и небесных так близко, как позже
Уже не случалось; не знанье причин,
А знанье причуд; не топтанье в прихожей,

А пропуск в покои, где кресло и ложе.
Любил — и, наверное, тоже любим
Был, то есть отвержен, отмечен, замучен.
Какой это труд и надрыв — молодым
Быть; старым и всё это вынесшим — лучше.
Завидовал птицам и тварям лесным.
Любил — и теперь еще... нет, ничего
Подобного больше, теперь — всё в порядке,
Вот сны еще только не знают того,
Что мы пробудились, и любят загадки:
Завесы, и шторы, и сборки, и складки.
Любил... о, когда это было? Забыл.
Давно. Словно в жизни другой или веке
Другом, и теперь ни за что этот пыл
Понять невозможно и мокрые веки:
Ну что тут такого, любил — и любил.

КУСТ

Евангелие от куста жасминового,
Дыша дождем и в сумраке белея,
Среди аллей и звона комариного
Не меньше говорит, чем от Матфея.
Так бел и мокр, так эти грозди светятся,
Так лепестки летят с дичка задетого.
Ты слеп и глух, когда тебе свидетельства
Чудес нужны еще, помимо этого.
Ты слеп и глух, и ищешь виноватого,
И сам готов кого-нибудь обидеть.
Но куст тебя заденет, бесноватого,
И ты начнешь и говорить, и видеть.

* * *

Какое чудо, если есть
Тот, кто затеплил в нашу честь
Ночное множество созвездий!
А если всё само собой
Устроилось, тогда, друг мой,
Еще чудесней!
Мы разве в проигрыше? Нет.
Тогда всё тайна, всё секрет.
А жизнь совсем невероятна!
Огонь, несущийся во тьму!
Еще прекрасней потому,
Что невозвратно.

ПИРЫ

Андрею Смирнову

Шампанское — двести бутылок,
Оркестр — восемнадцать рублей,
Пять сотен серебряных вилок,
Бокалов, тарелок, ножей,
Закуски, фазаны, индейки,
Фиалки из оранжерей, —
Подсчитано всё до копейки,
Оплачен последний лакей.
И давнего пира изнанка
На глянцево́м желтом листе
Слепит, как ночная Фонтанка
С огнями в зеркальной воде.
Казалось забытым, но всплыло,
Явилось, пошло по рукам.
Но кто нам расскажет, как было
Беспечно и весело там!
Тоскливо и скучно! Сатира
На лестнице мраморный торс.
Мне жалко не этого пира
И пара, а жизни — до слез.
Я знаю, зачем суетливо,
Иные оставив миры,
Во фраке, застегнутом криво,
Брел Тютчев на эти пиры.
О, лишь бы томило, мерцало,
Манило до белых волос...
Мне жалко не этого бала
И пыла, а жизни — до слез,
Ее толчеи, и кадушки
С обшарпанной пальмою в ней,
И нашей вчерашней пирушки,
И позавчерашней, твоей!

* * *

На скользком кладбище, один
Средь плит расколотых, руин,
Порвавших мраморные жилы,
Гнилых осин, —
Стою у тютчевской могилы.
Не отойти.
Вблизи Обводного, среди

Фабричных стен, прижатых тесно,
Смотри: забытая почти
"Всепоглощающая бездна".
Так вот она! Нездешний свет,
Сквозь зелень выбившийся жалко?
Изнанка жизни? Хаос? — Нет.
Сметенных лет
Изжитый мусор, просто свалка.
Какие кладбища у нас!
Их запустенье —
Отказ от жизни и отказ
От смерти, птичьих двух-трех фраз
В кустах оборванное пенье.
В полях загробных мы бредем,
Не в пурпур — в рубище одеты,
Глухим путем.
Резинку дай — мы так сотрем:
Ни строчки нашей, ни приметы.
Сто наших лет
Тысячелетним разрушеньям
Дать могут фору: столько бед
Свалилось, бомб, гасивших свет,
Звонков с ночным опустошеньем.
Уснуть, остыть.
Что ж, не цветочки ж разводить
На этом прахе и развале!
Когда б не Тютчев, может быть,
Его б совсем перепахали.
И в этом весь
Характер наш и упоенье.
И разве царство божье здесь?
И разве мертвых красит спесь?
В стихах неискренно смирение?
Спросите Тютчева — и он
Сквозь вечный сон
Махнет рукой, пожмет плечами.
И мнится: смертный свой урон
Благословляет, между нами.

* * *

Быть классиком — значит стоять на шкафу
Бессмысленным бюстом, топорща ключицы.
О Гоголь, во сне ль это всё, наяву?
Так чучело ставят: бекаса, сову.
Стоишь вместо птицы.
Он кутался в шарф, он любил мастерить
Жилеты, камзолы.

Не то что раздеться — куска проглотить
Не мог при свидетелях, — скульптором голый
Поставлен. Приятно ли классиком быть?
Быть классиком — в классе со шкафа смотреть
На школьников; им и запомнится Гоголь —
Не странник, не праведник, даже не щеголь,
Не Гоголь, а Гоголя верхняя треть.
Как нос Ковалева. Последний урок:
Не надо выдумывать, жизнь фантастична!
О юноши, пыль на лице, как чулок!
Быть классиком страшно, почти неприлично.
Не слышат: им хочется под потолок.

* * *

Ребенок ближе всех к небытию.
Его еще преследуют болезни,
Он клонится ко сну и забвению
Под зыбкие младенческие песни.
Его еще облизывает тьма,
Подкравшись к изголовью, как волчица,
Заглаживая проблески ума
И взрослые размазывая лица.
Еще он в белой дымке кружевной
И облачной, еще он запеленат,
И в пене полотняной и льняной
Румяные его мгновенья тонут.
Туманящийся с края бытия,
Так при смерти лежат, как он — при жизни,
Разнежившись без собственного "я",
Нам к жалости живой и укоризне.
Его еще укачивают, он
Что помнит о беспамятстве — забудет.
Он вечный свой досматривает сон.
Вглядись в него: вот-вот его разбудят.

* * *

Контрольные. Мрак за окном фиолетов,
Не хуже чернил. И на два варианта
Поделенный класс. И не знаешь ответов.
Ни мужества нету еще, ни таланта.
Ни взрослой усмешки, ни опыта жизни.
Учебник достать — пристыдят и отнимут.
Бывал ли кто-либо в огромной отчизне,
Как маленький школьник, так грозно покинут!
Быть может, те годы сказались в особой
Тоске и ознобе? Не думаю, впрочем.

Ах, детства во все времена крутолобый
Вид — вылеплен строгостью и заморочен.
И я просыпаюсь во тьме полуночной
От смертной тоски и слепящего света
Тех ламп на шнурах, белизны их молочной,
И сердце сжимает оставленность эта.
И все неприятности взрослые наши:
Проверки и промахи, трепет невольный,
Любовная дрожь и свидание даже —
Всё это не стоит той детской контрольной.
Мы просто забыли. Но маленький школьник
За нас расплатился, покуда не вырос,
И в пальцах дрожал у него треугольник.
Сегодня бы, взрослый, он это не вынес.

ПОСЕЩЕНИЕ

Я тоже посетил
Ту местность, где светил
Мне в молодости луч,
Где ивовый настил
Пружинил под ногой.
Узнать ее нет сил.
Я потерял к ней ключ.
Там не было такой
Ложбины, и перил
Березовых, и круч —
Их вид меня смутил.
Так вот оно что! Нет
Той топи и цветов,
И никаких примет,
И никаких следов.
И молодости след
Растаял и простыл.
Здесь не было кустов!
О, кто за двадцать лет
Нам землю подменил?
Неузнаваем лик
Земли — и грустно так,
Как будто сполз ледник
И слой вырос на слой.
А фильмов тех и книг
Чудовищный костяк!
А детский твой дневник,
Ушедший в мезозой!
Элегии чужды
Привычкам нашим, — нам
И нет прямой нужды

Раскапывать весь хлам,
Ушедший на покой,
И собирать тех лет
Подробности: киркой
Наткнешься на скелет
Той жизни и вражды.
В журнале "Крокодил"
Гуляет диплодок,
Как символ грозных сил,
Похожий на мешок.
Но, может быть, всего
Ужасней был бы вид
Для нас как раз того,
Чем сердце дорожит.
Есть карточка, где ты
С подругой давних лет
Любителем заснят.
Завалены ходы.
Туманней, чем тот свет.
Бледней, чем райский сад.
Там видно колею,
Что сильный дождь размыл.
Так вот — ты был в раю,
Но, видимо, забыл.
Я "Исповедь" Руссо
Как раз перечитал.
Так буйно заросло
Всё новым смыслом в ней,
Что книги не узнал,
Страниц ее, частей.
Как много новых лиц!
Завистников, певиц,
Распутниц, надувал.
Скажи, знаток людей,
Ты клеил, приписал?
Но ровен блеск полей
И незаметен клей.
А есть среди страниц
Такие, что вполне
Быть вписаны могли
Толстым, в другой стране,
Где снег и ковыли.
Дрожание ресниц,
Сердечной правды пыл.
Я тоже посетил.
Наверное, в наш век
Меняются скорей
Черты болот и рек;

Смотри: подорван тыл.
Обвал души твоей.
Не в силах человек
Замедлить жесткий бег
Лужаек и корней.
Я вспомнил москвичей,
Жалеющих Арбат.
Но берег и ручей
Тех улиц не прочней
И каменных наяд.
Кто б думал, что пейзаж
Проходит, как любовь,
Как юность, как мираж, —
Он видит ужас наш
И вскинутую бровь.
Мемориальных букв,
На белом — золотых,
Экскурсоводок-бук,
Жующих черствый стих,
Не видно. Молочай
Охраны старины
Не ведает. Прощай!
Тут нашей нет вины.
Луга сползают в смерть,
Как скатерть с бахромой.
Быть может, умереть —
Прийти к себе домой,
Не зажигая свет,
Не зацепив ногой
Ни стол, ни табурет.
Смеркается. Друзей
Всё меньше. Счастлив тем,
Что жил, при грусти всей,
Не делая проблем
Из разности слепой
Меж кем-то и собой,
Настолько был важней
Знак общности людей,
Доставшийся еще
От довоенных дней
И нынешних старух,
Что шли, к плечу плечо,
В футболках и трусах,
Под липким кумачом,
С гирляндами в руках.
О тополиный пух
И меди тяжкий взмах!
Ведь детство — это слух

И зренье, а не страх.
Продрался напролом,
Но луга не нашел.
Давай и мы уйдем
Легко, как он ушел.
Ты думал удивить
Набором перемен,
Накопленных тобой,
Но мокрые кусты
Не знают, с чем сличить
Отцветшие черты,
Поблекший облик твой,
Сентиментальных сцен
Стыдятся, им что ты,
Должно быть, что любой.
И знаешь, даже рад
Я этому: наш мир —
Не заповедник; склад
Его изменчив; дыр
Не залатать; зато
Новехонек для тех,
Кто вытащил в лото
Свой номер позже нас,
Чей шепоток и смех
Ты слышишь в поздний час.

* * *

Я. Гордину

Был туман. И в тумане
Наподобье загробных теней
В двух шагах от французов прошли англичане,
Не заметив чужих кораблей.
Нельсон нервничал: он проморгал Бонапарта,
Мчался к Александрии, топтался у стен Сиракуз,
Слишком много азарта
Он вложил в это дело: упущен француз.
А представьте себе: в эту ночь никакого тумана!
Флот французский опознан, расстрелян, развеян, разбит.
И тогда — ничего от безумного шага и плана,
Никаких пирамид.
Вообще ничего. Ни империи, ни Аустерлица.
И двенадцатый год, и роман-эпопея — прости.
О туман! Бесприютная взвешенной влаги частица,
Хорошо, что у Нельсона встретила ты на пути.
Мне в истории нравятся фантазмагория, фанты,
Всё, чего так стыдятся историки в ней.

Им на жесткую цепь хочется посадить варианты,
А она — на корабль и подносит им с ходу — сто дней!
И за то, что она не искусство для них, а наука,
За обидой не лезет в карман.
Может быть, она мука,
Но не скука. Я вышел во двор, пригляделся: туман.

СЛОЖИВ КРЫЛЬЯ

Крылья бабочка сложит,
И с древесной корой совпадет ее цвет.
Кто найти ее сможет?
Бабочки нет.
Ах, ах, ах, горе нам, горе!
Совпадут всеми точками крылья: ни щелки, ни шва.
Словно в греческом хоре
Строфа и антистрофа.
Как богаты мы были, да всё потеряли!
Захотели б вернуть этот блеск — и уже не могли б.
Где дворец твой? Слепец, ты идешь, спотыкаясь в печали.
Царь Эдип.
Радость крылья сложила
И глядит обратной, тоскливой своей стороной.
Чем душа дорожила,
Стало мукой сплошной.
И меняется почерк,
И, склонясь над строкой,
Ты не бабочку ловишь, а жалкий, засохший листочек,
Показавшийся бабочкою под рукой.
И смеркается время.
Где разводы его, бархатистая ткань и канва?
Превращается в темень
Жизнь, узор дорогой различаешь в тумане едва.
Сколько бабочек пестрых всплывало у глаз и прельщало:
И тропический зной, и в лиловых подтеках Париж!
И душа обмирала —
Да мне голос шепнул: "Не туда ты глядишь!"
Ах, ах, ах, зорче смотрите,
Озираясь вокруг и опять погружаясь в себя.
Может быть, и любовь где-то здесь, только в сложенном виде,
Примостилась, крыло на крыле, молчаливо любя?
Может быть, и добро, если истинно, то втихомолку.
Совершенное втайне, оно совершенно темно.
Не оставит и щелку,
Чтоб подглядывал кто-нибудь, как совершенно оно.
Может быть, в том, что бабочка знойные крылья сложила,
Есть и наша вина: слишком близко мы к ней подошли.

Отойдем — и вспорхнет, и очнется, принцесса Брамбила
В разноцветной пыли!

* * *

Сентябрь выметает широкой метлой
Жучков, паучков с паутиной сквозной,
Истерзанных бабочек, ссохшихся ос,
На сломанных крыльях разбитых стрекоз,
Их круглые линзы, бинокли, очки,
Чешуйки, распорки, густую пыльцу,
Их усики, лапки, зацепки, крючки,
Оборки, которые были к лицу.
Сентябрь выметает широкой метлой
Хитиновый мусор, наряд кружевной,
Как если б директор балетных теплиц
Очнулся — и сдунул своих танцовщиц.
Сентябрь выметает метлой со двора
За поле, за речку и дальше, во тьму,
Манжеты, застежки, плащи, веера,
Надежды на счастье, батист, бахрому.
Прощай, моя радость! До кладбища ос,
До свалки жуков, до погоста слепней,
До царства Плутона, до высохших слез,
До блеклых, в цветах, элизийских полей!

* * *

Как клен и рябина растут у порога,
Росли у порога Растрелли и Росси,
И мы отличали ампир от барокко,
Как вы в этом возрасте ели от сосен.
Ну что же, что в ложноклассическом стиле
Есть нечто смешное, что в тоге, в тумане
Сгустившемся, глядя на автомобили,
Стоит в простыне полководец, как в бане?
А мы принимаем условность, как данность.
Во-первых, привычка. И нам объяснили
В младенчестве эту веселую странность,
Когда нас за ручку сюда приводили.
И эти могучие медные складки,
Прилипшие к телу, простите, к мундиру,
В таком безупречном ложатся порядке,
Что в детстве внушают доверие к миру,
Стремление к славе. С каких бы мы точек
Ни стали смотреть — всё равно загляденье.
Особенно если кружится листочек
И осень, как знамя, стоит в отдаленье.

* * *

И пыльная дымка, и даль в ореоле
Вечернего солнца, и роща в тумане.
Художник так тихо работает в поле,
Что мышь полевую находит в кармане.
Увы, ее тельце смешно и убого.
И, вынув брезгливо ее из кармана,
Он прячет улыбку. За господа бога
Быть принятым все-таки лестно и странно.
Он думает: если бы в серенькой куртке,
Потертой, измазанной масляной краской,
Он сунулся б тоже, сметливый и юркий,
В широкий карман за теплом и за лаской, —
Взовьются ли, вздрогнут, его обнаружа?
Придушат, пригреют? Отпустят на волю?
За кротость, за вид хлопотливо-тщедушный,
За преданность этому пыльному полю?

ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ

Из книг «Таврический сад», «Дневные сны», «Живая изгородь»

* * *

Небо ночное распахнуто настезь — и нам
Весь механизм его виден: шпыньки и пружинки,
Гвозди, колки... Музыкальная трудится там
Фраза, глотая помехи, съедая запинки.
Ночью в деревне, шагнув от раскрытых дверей,
Вдруг ощущаешь себя в золотом лабиринте.
Кажется, только что вышел оттуда Тезей,
Чуткую руку на нити держа, как на квинте.
Что это, друг мой, откуда такая любовь,
Несовершенство свое сознающая явно,
Вся — вне расчета вернуться когда-нибудь вновь
В эти края, а в небесную тьму — и подавно.
Кто этих стад, этой музыки тучной пастух?
Небо ночное скрипучей заведено ручкой.
Стынешь и чувствуешь, как превращается в слух
Зренье, а слух затмевается серенькой тучкой.
Или слезами. Не спрашивай только, о чем
Плачут: любовь ли, обида ли жжется земная —
Просто стоят, подпирая пространство плечом,
Музыку с глаз, словно блестящий рай, вытирая.

НОЧНАЯ БАБОЧКА

Пиджак безжизненно повис на спинке стула.
Ночная бабочка на лацкане уснула.
Где свет застал ее — там выдохлась и спит.
Где сон сморил ее — там крылья распластала.
Вы не добудите ее: она устала.
И желтой ниточкой узор ее прошит.
Ей, ночью видящей, свет кажется покровом
Сплошным, как занавес, но с краешком багровым.
В него укутанной, покойно ей сейчас.
Ей снится комната со спящим непробудно
Во тьме, распахнутой безжалостно и чудно,
И с беззащитного она не сводит глаз.

* * *

По рощам блаженных, по влажным зеленым холмам.
За милую тенью, тебя поджидающей там.
Прекрасную руку сжимая в своей что есть сил.
Ах, с самого детства никто тебя так не водил!
По рощам блаженных, по волнообразным, густым,
Расчесанным травам — лишь в детстве ступал по таким!

Никто не стрижет, не сажает их — сами растут.
За милую тенью. — "Куда мы?" — "Не бойся. Нас ждут".
Монрей или Кембридж? Кому что припомнить дано.
Я ахну, я всхлипну, я вспомню деревню Межно,
Куда с детским садом в три года меня привезли, —
С тех пор я не видел нежней и блаженней земли.
По рошам блаженных, предчувствуя жизнь впереди
Такую родную, как эти грибные дожди,
Такую большую — не меньше, чем та, что была.
И мята, и мед, и, наверное, горе и мгла.

* * *

Страна, как туча за окном,
Синеет зимняя, большая.
Ни разговором, ни вином
Не заслонить ее, альбом
Немецкой графики листая,
Читая медленный роман,
Склонясь над собственной работой,
Мы всё равно передний план
Предоставляем ей; туман,
Снежок с фонарной позолотой.
Так люди, ждущие письма,
Звонка, машины, телеграммы,
Лишь частью сердца и ума
Вникают в споры или драмы,
Поступок хвалят и строку,
Кивают: это ли не чудо? —
Но и увлекшись, начеку:
Прислушиваются к чему-то.

* * *

Нет лучшей участи, чем в Риме умереть.
Проснулся с гоголевской фразой этой странной.
Там небо майское умеет розоветь
Легко и молодо над радугой фонтанной.
Нет лучшей участи... похоже на сирень
Оно, весеннее, своим нездешним цветом.
Нет лучшей участи, — твержу... Когда б не тень,
Не тень смертельная... Постой, я не об этом.
Там солнце смуглое, там знойный прах и тлен.
Под синеокими, как пламя, небесами
Там воин мраморный не в силах встать с колен,
Лежат надгробия, как тени под глазами.
Нет лучшей участи, чем в Риме... Человек
Верстою целою там, в Риме, ближе к богу.

Нет лучшей участи, — твержу... Нет, лучше снег,
Нет, лучше белый снег, летящий на дорогу.
Нет, лучше тучами закрытое на треть,
Снежком слепящее, туманы и метели.
Нет лучшей участи, чем в Риме умереть.
Мы не умрем с тобой: мы лучшей не хотели.

СНЕГ

Ах, что за ночь, что за снег, что за ночь, что за снег!
Кто научил его падать торжественно так?
Город и все его двадцать дымящихся рек
Бег замедляют и вдруг переходят на шаг.
Диск телефона не стану крутить — всё равно
Спишь в этот час, отключив до утра аппарат.
Ах, как бело, как черно, как бело, как черно!
Царственно-важный, парадный, большой снегопад.
Каждый шишак на ограде в объеме растет,
Каждый сучок располнел от общественных сумм.
Нас не затопит, но, видимо, нас заметет:
Всё Геркуланум с Помпеей приходят на ум.
В детстве лишь, помнится, были такие снега,
Скоро останется колышек шпилья от нас,
Чтобы Мюнхаузен, едущий издалека,
К острому шпилью коня привязал еще раз.

* * *

Что мне весна? Возьми ее себе!
Где вечная, там расцветет и эта.
А здесь, на влажно дышащей тропе,
Душа еще чувствительней задета
Не ветвью, в бледно-розовых цветах,
Не ветвью, нет, хотя и ветвью тоже,
А той тоской, которая в веках
Расставлена, как сеть; ночной прохожий,
Запутавшись, возносит из нее
Стон к небесам... но там его не слышат,
Где вечный май, где ровное житье,
Где каждый день такой усладой дышат.
И плачет он меж Невкой и Невой,
Вблизи трамвайных линий и мечети,
Но не отдаст недуг сердечный свой,
Зарю и рельсы блещущие эти
За те края, где льется ровный свет,
Где не стареют в горестях и зимах.
Он и не мыслит счастья без примет
Топографических, неотразимых.

* * *

В одном из ужаснейших наших
Задымленных, темных садов,
Среди изувеченных, страшных,
Прекрасных древесных стволов,
У речки, лежащей неловко,
Как будто больной на боку,
С названьем Екатерингофка,
Что еле влезает в строку,
Вблизи комбината с прядильной
Текстильной душой нитяной
И транспортной улицы тыльной,
Трамвайной, сквозной, объездной,
Под тучей, а может быть, дымом,
В снегах, на исходе зимы,
О будущем, непредставимом
Свиданье условились мы.
Так помни, что ты обещала.
Вот только боюсь, что и там
Мы врозь проведем для начала
Полжизни, с грехом пополам,
А ткацкая фабрика эта,
В три смены работая тут,
Совсем не оставит просвета
В сцеплении нитей и пут.

* * *

На выбор смерть ему предложена была.
Он Цезаря благодарил за милость.
Могла кинжалом быть, петлею быть могла,
Пока он выбирал, топталась и томилась,
Ходила вслед за ним, бубнила невпопад:
Вскрой вены, утопись, с высокой кинься кручи.
Он шкафчик отворил: быть может, выпить яд?
Не худший способ, но, возможно, и не лучший.
У греков — жизнь любить, у римлян — умирать,
У римлян — умирать с достоинством учиться,
У греков — мир ценить, у римлян — воевать,
У греков — звук тянуть на флейте, на цевнице,
У греков — жизнь любить, у греков — торс лепить,
Объемно-теневой, как туча в небе зимнем,
Он отдал плащ рабу и свет велел гасить.
У греков — воск топить и умирать — у римлян.

СОН

В палатке я лежал военной,
До слуха долетал троянской битвы шум,
Но моря милый гул и шорох белопенный
Весь день внушали мне: напрасно ты угрюм.
Поблизости росли лиловые цветочки,
Которым я не знал названья; меж камней
То ящериц узорные цепочки
Сверкали, то жучок мерцал, как скарабей.
И мать являлась мне, как облачко из моря,
Садилась близ меня, стараясь притушить
Прохладной рукой тоску во мне и горе.
Жемчужная на ней дымилась нить.
Напрасен звон мечей: я больше не воюю.
Меня не убедить ни другу, ни льстецу:
Я в сторону смотрю другую,
И пасмурная тень гуляет по лицу.
Триеры грубый киль в песок прибрежный вдавлен —
Я б с радостью отплыл на этом корабле!
Еще подумал я, что счастлив, что оставлен,
Что жить так больно на земле.
Не помню, как заснул и сколько спал — мгновенье
Иль век? — когда сорвал с постели телефон,
А в трубке треск, и скрип, и шорох, и шипенье,
И чей-то крик: "Патрокл сражен!"
Когда сражен? Зачем? Нет жизни без Патрокла!
Прости, сейчас проснусь. еще раз повтори.
И накренился мир, и вдруг щека намокла,
И что-то рухнуло внутри.

* * *

Я знаю, почему в Афинах или Риме
Поддержки ищет стих и жалуется им.
Ему нужны века, он далями сквозными
Стремится пробежать и словно стать другим,
Трагичнее еще, таинственней, огромней.
И эхо на него работает в поту.
Он любит делать вид, что все каменоломни
В Коринфе обошел, все дворики в порту.
Он в наш вбегает день — идет снежок мучнистый,
Автобус синий дым волочит, как крыло,
И к снегу подмешав как будто прах кремнистый,
Стих смотрит на людей и дышит тяжело.
Сейчас он запоет, заплачет, зарыдает,

Застонет, завопит... но он заводит речь
Простую, как любой, кто слишком много знает,
Устал — и всё равно не сбросит тяжесть с плеч.

* * *

Как пуговичка, маленький обол.
Так вот какую мелкую монету
Взимал паромщик! Знать, не так тяжел
Был труд его, но горек, спора нету.
Как сточены неровные края!
Так камешки обтачивает море.
На выставке всё всматривался я
В приплюснутое, бронзовое горе.
Все умерли. Всех смерть смела с земли.
Лишь Федра горько плачет на помосте.
Где греческие деньги? Все ушли
В карман гребцу. Остались две-три горсти.

* * *

И если спишь на чистой простыне,
И если свеж и тверд пододеяльник,
И если спишь, и если в тишине
И в темноте, и сам себе начальник,
И если ночь, как сказано, нежна,
И если спишь, и если дверь входную
Закрыв на ключ, и если не слышна
Чужая речь, и музыка ночную
Не соблазняет счастьем тишину,
И не срывают с криком одеяло,
И если спишь, и если к полотну
Припав щекой, с подтеками крахмала,
С крахмальной складкой, вдавленной в висок,
Под утюгом так высохла, на солнце?
И если пальцев белый табунок
На простыне. доверчиво пасется,
И не трясут за теплое плечо,
Не подступают с окриком и лаем,
И если спишь, чего тебе еще?
Чего еще? Мы большего не знаем.

* * *

Мне кажется, что жизнь прошла.
Остались частности, детали.
Уже сметают со стола
И чашки с блюдцами убрали.

Мне кажется, что жизнь прошла.
Остались странности, повторы.
Рука на сгибе затекла.
Узоры эти, разговоры...
На холод выйти из тепла,
Найти дрожащие перила.
Мне кажется, что жизнь прошла.
Но это чувство тоже было.
Уже, заметив, что молчу,
Сметали крошки тряпкой влажной.
Постой... еще сказать хочу...
Не помню, что хочу... неважно.
Мне кажется, что жизнь прошла.
Уже казалось так когда-то,
Но дверь раскрылась — то была
К знакомым гостья, — стало взгляда
Не отвести и не поднять;
Беседа дрогнула, запнулась,
Потом настроилась опять,
Уже при ней, — и жизнь вернулась.

* * *

Мы спорили, вал белопенный был нашему спору под стать,
Что нищие духом блаженны и как эту фразу понять?
И я говорил, что как дети в неведеньи сердцем чисты,
Как солнцем нагретые сети и дикие эти кусты,
Лазурная в море полоска и донная рыжая прядь,
Что я бы хотел у киоска с похмелья за пивом стоять.
А ты говорила, что мрачный, стоящий за пивом с утра,
Как лист изможденный табачный, как жесткая эта кора,
Как эти кусты у обрыва с обломанной ветвью сухой —
То встречного ветра пожива, то вздыбленной гривы морской,
Что жить еще горше на свете, когда не осмыслить утрат,
А дети... ты вспомни, как дети на взрослые Царства глядят!

ПЧЕЛА

Пятясь, пчела выбирается вон из цветка.
Ошеломленная, прочь из горячих объятий.
О, до чего ж эта жизнь хороша и сладка,
Шелка нежней, бархатистого склона покатай!
Господи, ты раскалил эту жаркую печь
Или сама она так распалилась — неважно,
Что же ты дал нам такую разумную речь,
Или сама рассудительна так и протяжна?
Кажется, память на время отшибло пчеле.
Ориентацию в знойном забыла пространстве.

На лепестке она, как на горячей золе,
Лапками перебирает и топчется в трансе.
Я засмотрелся — и в этом ошибка моя.
Чуть вперевалку, к цветку прижимаясь всем телом,
В желтую гущу вползать, раздвигая края
Радости жгучей, каленьем подернутой белым.
Алая ткань, ни раскаянья здесь, ни стыда.
Сколько ни вытянуть — ни от кого не убудет.
О, неужели однажды придут холода,
Пламя погасят и зной этот чудный остудят?

БОГ С ОВЦОЙ

Бог, на плечи ягненка взвалив,
По две ножки взял в каждую руку.
Он-то вечен, всегда будет жив,
Он овечью не чувствует муку.
Жизнь овечья подходит к концу.
Может быть, пострижет и отпустит?
Как ребенка, несет он овцу
В архаичном своем захолустье.
А ягненок не может постичь,
У него на плече полулежа,
Почему ему волны не стричь?
Ведь они завиваются тоже.
Жаль овечек, барашков, ягнят,
Их глаза наливаются болью.
Но и жертва, как нам объяснят
В нашем веке, свыкается с ролью.
Как плывут облака налегке!
И дымок, как из шерсти, из ваты;
И припала бы к Божьей руке,
Да все ножки четыре зажаты.

* * *

Камни кидают мальчишки философу в сад.
Он обращался в полицию — там лишь разводят руками.
Холодно. С Балтики рваные тучи летят
И притворяются над головой облаками.
Дом восьмикомнатный, в два этажа; на весь дом
Кашляет Лампе, слуга, серебро протирая
Тряпкой, а всё потому, что не носом он дышит, а ртом
В этой пыли; ничему не научишь лентяя.
Флоксы белеют; не спустишься в собственный сад,
Чтобы вдохнуть их мучительно-сладостный запах.
Бог — это то, что не в силах пресечь камнепад,
В каплях блестит, в шелестенье живет и накрапах.

То есть его, говоря осмотрительно, нет
В онтологическом, самом существенном, смысле.
Бог — совершенство, но где совершенство? Предмет
Спора подмочен, и капли на листьях повисли.
Старому Лампе об этом не скажешь, бедняк
В боге нуждается, чистя то плащ, то накидку.
Бог — это то, что, наверное, выйдя во мрак
Наших дверей, возвращается утром в калитку.

* * *

Кавказской в следующей жизни быть пчелой,
Жить в сладком домике под синею скалой,
Там липы душные, там глянцевые кроны.
Не надышался я тем воздухом, шальной
Не насладился я речной волной зеленой.
Она так вспенена, а воздух так душист!
И ходит, слушая веселый птичий свист,
Огромный пасечник в широкополой шляпе,
И сетка серая свисает, как батист.
Кавказской быть пчелой, все узелки ослабив.
Пускай жизнь прежняя забудется, сухим
Пленившись воздухом, летать путем слепым,
Вверяясь запахам томительным, роскошным.
Пчелой кавказской быть, и только горький дым,
Когда окуривают пчел, повеет прошлым.

* * *

Мне весело, что Бакст, Нижинский, Бенуа
Могли себя найти на прустовской странице
Средь вымышленных лиц, где сложная канва
Еще одной петлей пленяет — и смутиться
Той славы и молвы, что дали им на вход
В запутанный роман прижизненное право,
Как если б о себе подслушать мнение вод
И трав, расчесанных налево и направо.
Представьте: кто-нибудь из них сидел, курил,
Читал четвертый том и думал отложить — и
Как если б вдруг о нем в саду заговорил
Боярышник в цвету иль в туче — небожитель.
О музыка, звучи! Танцовщик, раскружи
Свой вылепленный торс, о живопись, не гасни!
Как весело снуют парижские стрижи!
Что путаней судьбы, что смерти безопасней?

* * *

В полуплаще, одна из аонид,
Иль это платье так на ней сидит?
В полуплюще, и лавр по ней змеится.
"Я чистая условность, — говорит, —
И нет меня", — и на диван садится.
Ей нравится, во-первых, телефон:
Не позвонить ли, думает, подружке?
И вид в окне, и Смольнинский район,
И тополей кипящие верхушки.
Каким я древним делом занят! Что ж
Всё вслушиваюсь, как бы поновее
Сказать о том, как этот мир хорош?
И плох, и чужд, и нет его роднее!
А дева к уху трубку поднесла
И диск вращает пальчиком отбитым.
Верти, верти. Не меньше в мире зла,
Чем было в нем, когда в него внесла
Ты дивный плач по храбрым и убитым
Но лгать и впрямь нельзя, и кое-как
Сказать нельзя — на том конце цепочки
Нас не простят укутанный во мрак
Гомер, Алкей, Катулл, Гораций Флакк,
Расслышать нас встающий на носочки.

ИЗ ЗАПАСНИКА

В Италию я не поехал так же,
Как за два года до того меня
Во Францию, подумав, не пустили,
Поскольку провокации возможны,
И в Англию поехали другие
Писатели. Италия, прощай!

Ты снилась мне, Венеция, по Джеймсу,
Завернутая в летнюю жару,
С клочком земли, засаженным цветами,
И полуразвалившимся жильем,
Каналами изрезанная сплошь.

Ты снилась мне, Венеция, по Манну,
С мертвеющим на пляже Ашенбахом
И смертью, образ мальчика принявшей,
С каналами? С каналами, мой друг.

Подмочены мои анкеты; где-то
Не то сказал; мои знакомства что-то
Не так чисты, чтоб не бросалось это
В глаза кому-то; трудная работа

У комитета. Башня в древней Пизе
Без нас благополучно упадет.

Достану с полки блоковские письма:
Флоренция, Милан, девятый год.
Италия ему внушила чувства,
Которые не вытащишь на свет:
Прогнило все. Он любит лишь искусство,
Детей и смерть. России ж вовсе нет
И не было. И вообще Россия
Лирическая лишь величина.

Товарищ Блок, писать такие письма,
В такое время, маме, накануне
Таких событий... Вам и невдомек,
В какой стране прекрасной вы живете!

Каких еще нам надо объяснений
Неотразимых, в случае отказа:
Из-за таких, как вы, теперь на Запад
Я не пускал бы сам таких, как мы.
Италия, прощай!

В воображенье
Ты еще лучше: многое теряет
Предмет любви в глазах от приближенья
К нему; пусть он, как облако, пленяет
На горизонте; близость ненадежна
И разрушает образ, и убого
Осуществленье. То, что невозможно,
Внушает страсть. Италия, прости!

Я не увижу знаменитой башни,
Что, в сущности, такая же потеря,
Как не увидеть знаменитой Федры.
А в Магадан не хочешь? Не хочу.
Я в Вырицу поеду, там, в тенечке,
Такой сквозняк, и перелески щедры
На лютики, подснежники, листочки,
Которыми я рану залечу.

А те, кто был в Италии, кого
Туда пустили, смотрят виновато,
Стыдясь сказать с решительностью Фета:
«Италия, ты сердцу солгала».
Иль говорят застенчиво, какие
На перекрестках топчутся красотки.
Иль вспоминают стены Колизея

И Перуджино... эти хуже всех.
Есть и такие: охают полгода
Или вздыхают — толку не добиться.
Спрошу: «Ну что Италия?» — «Как сон».
А снам чужим завидовать нельзя.

* * *

Горячая зима! Пахучая! Живая!
Слепит густым снежком, колючим, как в лесу,
Притихший Летний сад и площадь засыпая,
Миллионы знойных звезд лелея на весу.
Как долго мы ее боялись, избегали,
Как гостя из Уфы, хотели б отменить,
А гость блестящ и щедр, и так, как он, едва ли
Нас кто-нибудь еще сумеет ободрить.
Теперь бредем вдвоем, а третья — с нами рядом
То змейкой прошуршит, то вдруг, как махаон,
Расшитым рукавом, распахнутым халатом
Махнет у самых глаз, — волшебный, чудный сон!
Вот видишь, не страшны снега, в их цельнокройных
Одеждах, может быть, все страхи таковы!
От лучших летних дней есть что-то, самых знойных,
В морозных облаках январской синевы.
Запомни этот день, на всякий горький случай.
Так зиму не любить! Так радоваться ей!
Пищащий снег, живой, бормочущий, скрипучий!
Не бойся ничего: нет смерти, хоть убей.

* * *

Кто едет в купе и глядит на метель,
Что по полю рыщет и рвется по следу,
Тот счастлив особенно тем, что постель
Под боком, и думает: странно, я еду
В тепле и уюте сквозь эти поля,
А ветер горюет и тащится следом;
И детское что-то, заснуть не веля,
Смущает его в удовольствии этом.
Как маленький, он погружает в пургу
Себя, и глядит, отстранясь удивленно,
На поезд, и всё представляет в снегу
Покатую, черную крышу вагона,
И чем в представленье его холодней
Она и покатай, тем жить веселее.
О, спать бы и спать среди снежных полей,
Заломленный кустик во мраке жалея.
Наверное, где-нибудь и теплых краях

Подобное чувство ни взрослым, ни детям
Неведомо; нас же пленяет впотьмах
Причастность к пространствам заснеженным этим.
Как холоден воздух, еще оттого,
Что в этом просторе, взметенном и пенном,
С Карениной мы наглotalись его,
С Петрушей Гриневым и в детстве военном.

* * *

Как мы в уме своем уверены,
Что вслед за ласточкой с балкона
Не устремимся, злонамеренны,
Безвольно, страстно, испуlленно,
Нарочно, нехотя, рассеянно,
Полуосознанно, случайно...
Кем нам уверенность навеяна
В себе, извечна, изначально?
Что отделяет от безумия
Ум, кроме поручней непрочных?
Без них не выдержит и мумия
Соседство ласточек проточных:
За тенью с яркой спинкой белою
Шагнул бы, недоумевая,
С безумной мыслью — что я делаю? —
Последний, сладкий страх глотая.

* * *

Смысл жизни — в жизни, в ней самой.
В листве, с ее подвижной тьмой,
Что нашей смуте неподвластна,
В волненье, в пенье за стеной.
Но это в юности неясно.
Лет двадцать пять должно пройти.
Душа, цепляясь по пути
За всё, что висилось и висло,
Цвело и никло, дорости
Сумеет, нехотя, до смысла.

МИКЕЛАНДЖЕЛО

Ватикана создатель всех лучше сказал: "Пустяки,
Если жизнь нам так нравится, смерть нам понравится тоже,
Как изделие того же ваятеля"... Ветер с реки
Залетает, и воздух покрылся гусиною кожей.
Растрепались кусты... Я представил, что нас провели
В мастерскую, где дивную мы увидали скульптуру.

Но не хуже и та, что стоит под брезентом вдали
И еще не готова... Апрельского утра фактуру,
Блеск его и зернистость нам, может быть, дали затем,
Чтобы мастеру мы и во всём остальном доверяли.
Эта статья, эта мощь, этот низко надвинутый шлем...
Ах, наверное, будет не хуже в конце, чем в начале.

* * *

Всё гудел этот шмель, всё висел у земли на краю,
Улетать не хотел, рыжеватый, ко мне прицепился,
Как полковник на пляже, всю жизнь рассказавший свою
За двенадцать минут; впрочем, я бы и в три уложился.
Немигающий зной и волны жутковатый оскал.
При безветрии полным такие прыжки и накаты!
Он в писательский дом по горячей путевке попал
И скучал в нем, и шмель к простыне прилипал полосатой.
О Москве. О жене. Почему-то еще Иссык-Куль
Раза три вспоминал, как бинокль потерял на турбазе.
Захоти о себе рассказать я, не знаю, смогу ль,
Никогда не умел, закруглялся на первой же фразе.
Ну, лети, и пыльцы на руке моей, кажется, нет.
Одиночество в райских приморских краях нестерпимо.
Два-три горьких признанья да несколько точных замет —
Вот и всё, да струя голубого табачного дыма.
Биография, что это? Яркого моря лоскут?
Заблудившийся шмель? Или памяти старой запасы?
Что сказать мне ему? Потерпи, не печалься, вернут,
Пыль стерев рукавом, твой военный бинокль синеглазый.

* * *

А то, что было не для взора
Чужого, что, на ветерке
Плеща, от сада скрыла штора,
Когда, на шелковом шнурке
Скользнув, упала без зазора,
Дыша, как парус на реке, —
Не блажью было, не позора
Утайкой (им, щекой к щеке
Припавшим, было не до хора
Птиц, щебетавших в лозняке) —
А продолженьем разговора
На новом, лучшем языке!

* * *

Вот счастье — с тобой говорить, говорить, говорить
Вот радость — весь вечер, и вкрадчивой ночью, и ночью.
О, как она тянется, звездная тонкая нить,
Прошив эту тьму, эту яму волшебную, волчью!
До ближней звезды и за год не доедешь! Вдвоем
В медвежьем углу глуховатой Вселенной очнуться
В заставленной комнате с креслом и круглым столом.
О жизни. О смерти. О том, что могли разминуться.
Могли зазеваться. Подумаешь, век или два!
Могли б заглядеться на что-нибудь, попросту сбиться
С заветного счета. О, радость, ты здесь, ты жива.
О, нацеловаться! А главное, наговориться!
За тысячи лет золотого молчанья, за весь
Дожизненный опыт, пока нас держали во мраке.
Цветочки на скатерти — вот что мне нравится здесь.
О Тютчевской неге. О дивной полуденной влаге.
О вилле, ты помнишь, как двое порог перешли
В стихах его римских, спугнув вековую истому?
О стуже. О корке заснеженной бедной земли,
Которую любим, ревнуя к небесному дому.

* * *

Морем с двенадцатого этажа,
Как со скалы, любоваться пустынным
Можно, громадой его дорожа,
Синим, зеленым, лиловым, полынным,
Розовым, блеклым, молочным, льняным,
Шелковым, вкрадчивым, пасмурным, грубым,
Я не найдусь, — ты подскажешь, каким,
Гипсовым, ржавым, лепным, белозубым,
Мраморным. Видишь, я рад перерыть,
Перетряхнуть наш словарь, выбирая
Определения. Господи, быть
Точным и пристальным — радость какая!
Что за текучий, трепещущий свет!
Как хорошо на летящем балконе!
Видишь ли, я не считаю, что нет
Слов, я и счастья без слов бы не понял.

* * *

Низкорослой рюмочки пузатой
Помнят пальцы тяжесть и объем
И вдали от скатерти измятой,
Синеватым залитой вином.

У нее такое утолщенье,
Центр стеклянной тяжести внизу.
Как люблю я пристальное зренье
С ощущеньем точности в глазу!
И еще тот призыв истеричный,
Если палец съедет по стеклу!
И еще тот хаос пограничный,
Абазур, подтянутый к столу.
Боже мой, какие там химеры
За спиной склубились в темноте!
И какие страшные примеры
Нам молва приносит на хвосте!
И нельзя сказать, что я любитель,
Проводящий время в столбняке,
А скорее, слушатель и зритель
И вращатель рюмочки в руке.
Убыстритель рюмочки, качатель,
Рассмотритель блещущей — на свет,
Замедлитель гибели, питатель,
Упредитель, сдерживатель бед.

* * *

Тарелку мыл под быстрою струей
И всё отмыть с нее хотел цветочек,
Приняв его за крошку, за сырой
Клочок еды, — одной из проволочек
В ряду заминок эта тень была
Рассеянности, жизнь одолевавшей...
Смыть, смыть, стереть, добраться до бела,
До сути, нам сквозь сумрак просиявшей.
Но выяснилось: желто-голубой
Цветочек неделим и несмываем.
Ты ж просто недоволен сам собой,
Поэтому и мгла стоит за краем
Тоски, за срезом дней, за ободком,
Под пальцами приподнято-волнистым...
Поэзия, следи за пустяком,
Сперва за пустяком, потом за смыслом.

ПЕРЕД СТАТУЕЙ

В складках каменной тоги у Гальбы стоит дождевая вода.
Только год он и царствовал, бедный,
Подозрительный... здесь досаждают ему холода,
Лист тяжелый дубовый на голову падает, медный.
Кончик пальца смочил я в застойной воде дождевой
И подумал: еще заражусь от него неудачей.

Нет уж, лучше подальше держаться от этой кривой,
Обреченной гримасы и шеи бычачьей.
Что такое бессмертие, память, удачливость, власть, —
Можно было обдумать в соседстве с обшарпанным бюстом.
Словно мелкую снасть
Натянули на камень, — наложены трещинки густо.
Оказаться в суровой, размытой дождями стране,
Где и собственных цезарей помнят едва ли...
В самом страшном своем, в самом невразумительном сне
Не увидеть себя на покрытом снежком пьедестале.
Был приплюснут твой нос, был ты жалок и одутловат,
Эти две-три черты не на вечность рассчитаны были,
А на несколько лет... но глядят, и глядят, и глядят.
Счастлив тот, кого сразу забыли.

* * *

Цезарь, Август, Тиберий, Калигула, Клавдий, Нерон...
Сам собой этот перечень лег в стихотворную строчку.
О, какой безобразный, какой соблазнительный сон!
Поиграй, поверти, поддержи на руке, как цепочку.
Ни порвать, ни разбить, ни местами нельзя поменять.
Выходили из сумрака именно в этом порядке,
Словно лишь для того, чтобы лучше улечься в тетрадь,
Волосок к волоску и лепные волнистые складки.
Вот теперь наконец я запомню их всех наизусть.
Я диван обогнул, я к столу прикоснулся и стулу.
На таком расстоянье и я никого не боюсь.
Ни навету меня не достать, ни хуле, ни посулу.
Преимущество наше огромно, в две тысячи лет.
Чем его заслужил я, — никто мне не скажет, не знаю.
Словно мир предо мной развернул свой узор, свой сюжет,
И я пальцем веду по нему и вперед забегаю.

* * *

Перевалив через Альпы, варварский городок
Проезжал захолустный, бревна да глина.
Кто-то сказал с усмешкой, из фляги отпив глоток,
Кто это был, неважно, Пизон или Цинна:
"О, неужели здесь тоже борьба за власть
Есть, хоть трибунов нет, консулов и легатов?"
Он придержал коня, к той же фляжке решив припасть,
И, вернув ее, отвечал хрипловато
И, во всяком случае, с полной серьезностью: "Быть
Предпочел бы первым здесь, чем вторым или третьим в Риме.."
Сколько веков прошло, эту фразу пора б забыть!
Миллиона четыре в городе, шесть — с окрестностями заводскими.

И, повернувшись к тому, кто на заднем сиденье спит —
Укачало его, — спрощу: "Как ты думаешь, изменился
Человек или он всё тот же, словно пиния и самшит?"
Ничего не ответит, решив, что вопрос мой ему приснился.

* * *

Представь себе: еще кентавры и сирены,
Помимо женщин и мужчин...
Какие были б тягостные сцены!
Прибавилось бы вздора, и причин
Для ревности, и поводов для гнева.
Всё б страшно так переплелось!
Не развести бы ржанья и напева
С членораздельной речью — врозь.
И пело бы чудовище нам с ветки,
И конь стучал копытом, и добро
И зло совсем к другой тогда отметке
Вздымались бы, и в воздухе перо
Кружилось... Как могли б нас опорочить,
Какой навлечь позор!
Взять хоть Улисса, так он, между прочим,
И жил, — как упростилось всё с тех пор!

* * *

Гудок пароходный — вот бас; никакому певцу
Не снилась такая глубокая, низкая нота;
Ночной мотылек, обезумев, скользнет по лицу,
Как будто коснется слепое и древнее что-то.
Как будто все меры, которые против судьбы
Предприняты будут, ее торжество усугубят.
Огни ходовые и рев пароходной трубы.
Мы выйдем — нас встретят, введут во дворец и полюбят.
Сверните с тропы, обойдите, не трогайте нас!
Гудок пароходный берет эту жизнь на поруки.
Как бы в три погибели, грузный зажав контрабас,
Откуда-то снизу, с трудом, достают эти звуки.
На ощупь, во мраке... Густому, как горе, гудку
Ответом — волнение и крупная дрожь мировая.
Так пишут стихи, по словцу, по шажку, по глотку,
С глазами закрытыми, тычась и дрожь унимая.
Как будто все чудища древнего мира рычат,
Все эти драконы, грифоны, быки, минотавры...
Дремучая жизнь и волшебный, внимательный взгляд,
И, может быть, даже посмертные бедные лавры.

* * *

За дачным столиком, за столиком дощатым,
В саду за столиком, за вкопанным, сырым,
За ветхим столиком я столько раз объятым
Был светом солнечным, вечерним и дневным!
За старым столиком... слова свое значенье
Теряют, если их раз десять повторить.
В саду за столиком... почти развоплощенье...
С каким-то Толиком, и смысл не уловить.
В саду за столиком... А дело в том, что слишком
Душа привязчива... и ей в щелях стола
Все иглы дороги, и льнет к еловым шишкам,
И склонна всё отдать за толику тепла.

* * *

В объятых августа, увы, на склоне лета
В тени так холодно, на солнце так тепло!
Как в узел, стянуты два разных края света:
Обдало холодом и зноем обожгло.
Весь день колышутся еловые макушки.
Нам лень завещана, не только вечный труд.
Я счастлив, Дельвиг, был, я спал на раскладушке
Средь века хвойного и темнокрылых смут,
Как будто по двору меня на ней таскали:
То я на солнце был, то я лежал в тени,
С сухими иглами на жестком одеяле.
То ели хмурились, то снились наши дни.
Казалось вызовом, казалось то лежанье
Безмерной смелостью, и ветер низовой
Как бы подхватывал дремотное дыханье,
К нему примешивая вздох тяжелый свой.

* * *

В лазурные глядятся озера...

Тютчев

В лазурные глядятся озера
Швейцарские вершины, — ударенье
Смещенное нам дорого, игра
Споткнувшегося слуха, упоенье
Внушает нам и то, что мгла лежит
На холмах дикой Грузии, холмится
Строка так чудно, Грузия простит,

С ума спрыгнуть, так словно шевелится.
Пока еще язык не затвердел,
В нем резвятся, уча пенью и вздохам.
Резеда и жасмин... Я б не хотел
Исправить всё, что собрано по крохам
И ластится к душе, как облачко,
Из племени духов, — ее смутивший
Рассеется призрак, — и так легко
Внимательной, обмолвку полюбившей!...

* * *

В любительском стихотвореньи огрехи страшней, чем грехи.
А хор за стеной в помещенье поет, заглушая стихи,
И то ли стихи не без фальши иль в хоре, фальшивя, поют,
Но как-то всё дальше и дальше от мельниц, колес и запруд.
Что музыке жалкое слово, она и без слов хороша!
Хозяина жаль дорогого, что, бедный, живет не спеша,
Меж тем как движенье, движенье прописано нам от тоски.
Всё благо: и жалкое пенье, и рифм неумелых тиски.
За что нам везенье такое, вертлявых плотвичек не счесть?
Чем стихотворенье плохое хорошего хуже, бог весть!
Как будто по илу ступаю в сплетенье придонной травы.
Сказал бы я честно: не знаю, — да мне доверяют, увы.
Уж как там, не знаю, колеса немецкую речку рыхлят,
Но топчет бумагу без спроса стихов ковыляющий ряд, —
Любительское сочиненье при Доме ученых в Лесном,
И Шуберта громкое пенье в соседнем кружке хоровом.

ВОСПОМИНАНИЯ

Н. В. была смешливою моею
подругой гимназической (в двадцатом
она, эс-эр, погибла), вместе с ней
мы, помню, шли весенним Петроградом
в семнадцатом и встретили К. М.,
бегущего на частные уроки,
он нравился нам взрослостью и тем,
что беден был (повешен в Таганроге),
а Надя Ц. ждала нас у ворот
на Ковенском, откуда было близко
до цирка Чинизелли, где в тот год
шли митинги (погибла как троцкистка),
тогда она дружила с Колей У.,
который не политику, а пенье
любил (он в горло ранен был в Крыму,
попал в Париж, погиб в Сопротивленьи),
нас Коля вместо митинга зазвал

к себе домой, высокое на диво
окно смотрело прямо на канал,
сестра его (умершая от тифа)
Ахматову читала наизусть,
а Боря К. смешил нас до упаду,
в глазах своих такую пряча грусть,
как будто он предвидел смерть в блокаду,
и до сих пор я помню тот закат,
жемчужный блеск уснувшего квартала,
потом за мной зашел мой старший брат
(расстрелянный в тридцать седьмом), светало...

И В СКВЕРИКЕ ПОД ВЯЗОМ...

Бог, если хочешь знать, не в церкви грубой той
С подсвеченным ее резным иконостасом,
А там, где ты о нем подумал, — над строкой
Любимого стиха, и в скверике под вязом,
И в море под звездой, тем более -- в тени
Клинических палат с их бредом и бинтами.
И может быть, ему милее наши дни,
Чем пыл священный тот, — ведь он менялся с нами.
Бог — это то, что мы подумали о нем,
С чем кинулись к нему, о чем его спросили.
Он в лед ввергает нас, и держит над огнем,
И быстрой рад езде в ночном автомобиле,
И может быть, живет он нашей добротой
И гибнет в нашем зле, по-прежнему кромешном.
Мелькнула, вся в огнях, — не в церкви грубой той,
Не только в церкви той, хотя и в ней, конечно.
Старуха, что во тьме поклоны бьет ему,
Пускай к себе домой вернется в умиление.
Но пусть и я строку заветную прижму
К груди, пусть и меня заденет шелестенье
Листвы, да обрету покой на полчаса
И в грозный образ тот, что вылеплен во мраке,
Внесу две-три черты, которым небеса,
Быть может, как теплу сочувствуют и влаге.

* * *

Ты не права — тем хуже для меня.
Чем лучше женщина, тем ссора с ней громадней.
Что удивительно: ни ум, как бы родня
Мужскому, прочному, ни искренность, без задней
Подпольной мысли злой, — ничто не в помощь ей.
Неутолимое страданье
В глазах и логика, чем четче и стройней,

Что вся построена на ложном основанье.
Постройка шаткая возведена тоской
И болью, — высится, бесслезная громада.
Прижмись щекой
К ней, уступи во всём, проси забыть, — так надо.
Лишь поцелуями, нет, собственной вины,
Несуществующей, признанием — добиться
Прощенья можем мы. О, дочери и сыны
Ветхозаветные, сейчас могла б страница
Помочь волшебная, всё знающая, — жаль,
Что нет заветной под рукою.
Не плачь. Мы справимся. Люблю тебя я. Вдаль
Смотрю. Люблю тебя. С печалью вековой.

* * *

Как писал Катулл, пропадает голос,
Отлетает слух, изменяет зренье
Рядом с той, чья речь и волшебный образ
Так и этак тешат нас в отдаленье.
Помню, помню томление это, склонность
Видеть всё в искаженном, слепящем свете.
Не любовь, Катулл, это, а влюбленность.
Наш поэт даже книгу назвал так: "Сети".
Лет до тридцати пяти повторяем формы
Головастиков-греков и римлян-рыбок.
Помню, помню, из рук получаем корм мы,
Примеряем к себе беглый блеск улыбок.
Ненавидим и любим. Как это больно!
И прекрасных чудовищ в уме рисуем.
О, дожить до любви! Видеть всё. Невольно
Слышать всё, мешая речь с поцелуем.
"Звон и шум, — писал ты, — в ушах заглохших,
И затмились очи ночью тенью..."
О, дожить до любви! До великих новшеств!
Пищу слуху давать и работу — зренью.

* * *

Ну, музыка, счастливая сестра
Поэзии, как сладкий дух сирени,
До сердца пробираешь, до нутра,
Сквозь сумерки и через все ступени.
Везде цветешь, на лучшем говоришь
Разнежившемся языке всемирном,
Любой пустырь тобой украшен, лишь
Пахнет из окон рокотом клавирным.
И мне в тени, и мне в беде моей,

Средь луж дворовых, непереваемой,
Не чающей добаться до зыбей
Иных и круч и лишь в земле любимой
Надеющейся обрести привет
Сочувственный и заслужить вниманье,
Ты, музыка, и подаешь нет-нет
Живую мысль и новое дыханье.

* * *

На череп Моцарта, с газетной полосы
На нас смотревшего, мы с ужасом взглянули.
Зачем он выкопан? Глазницы и пазы
Зияют мрачные во сне ли, наяву ли?
Как! В этой башенке, в шкатулке черепной,
В коробке треснувшей с неровными краями
Сверкала музыка с подсветкой неземной,
С восьмыми, яркими, как птичий свист, долями!
Мне человечество не полюбить, печаль,
Как землю жирную, не вытряхнуть из мыслей.
Мне человечности, мне человека жаль!
Чела не выручить, обид не перечислить.
Марш — в яму с известью, в колымский мрак, в мешок,
В лед, "Свадьбу Фигаро" забыв и всю браваду.
О, приступ скромности, ее сплошной урок!
Всех лучших спрятали по третьему разряду.
Тсс... Где-то музыка играет... Где? В саду.
Где? В ссылке, может быть... Где? В комнате, в трактире,
На плечи детские свои взвалив беду,
И парки венские, и хвойный лес Сибири.

* * *

Грубый запах садовой крапивы.
Обожглись? Ничего. Терпеливы
Все мы в северном нашем краю.
Как султаны ее прихотливы!
Как колышутся в пешем строю!
Помню садик тенистый, лицейский,
Сладкий запах как будто летейский,
Неужели крапива? Увы.
Острый, жгучий, горячий, злодейский,
Пыльный дух подзаборной травы.
Вот она, наша память и слава.
Не хотите ее? Вам — направо,
Нам — налево. Ползучий налет,
Непролазная боль и отравы.
Лавр, простите, у нас не растет.

Непреклонна, угрюма, пушиста.
Что там розы у ног лицеиста?
Принесли их — они и лежат...
Как труба за спиною флейтиста:
Гуще, жарче ее аромат.

АПОЛЛОН В СНЕГУ

Колоннада в снегу. Аполлон
В белой шапке, накрывшей венки,
Желтоватой синицей пленен
И сугробом, лежащим у ног.
Этот блеск, эта жесткая резь
От серебряной пыли в глазах!
Он продрог, в пятнах сырости весь,
В мелких трещинах, льдистых буграх.
Неподвижность застывших ветвей
И не снилась прилипшим к холмам,
Средь олив, у лазурных морей
Средиземным его двойникам.
Здесь, под сенью покинутых гнезд,
Где и снег словно гипс или мел,
Его самый продвинутый пост
И влиянья последний предел.
Здесь, на фоне огромной страны,
На затянута льдом берегу
Замерзают, почти не слышны,
Стоны лиры и гаснут в снегу,
И как будто они ничему
Не послужат ни нынче, ни впредь,
Но, должно быть, и нам, и ему,
Чем больнее, тем сладостней петь.
В белых иглах мерцает душа,
В ее трещинах сумрак и лед.
Небожитель, морозом дыша,
Пальму первенства нам отдает,
Эта пальма, наверное, ель,
Обметенная инеем сплошь.
Это — мужество, это — метель,
Это — песня, одетая в дрожь.

ДЕВЯНОСТЫЕ

Из книг «Ночная музыка», «На сумрачной звезде», «Тысячелистник»

* * *

Мы жили в решающий год, завершающий год,
Какой-то еще, тоже ающий, тающий, прущий,
Всех опережающий, нас выводящий вперед
И к нам приближающий пышные райские кущи.
Как из парикмахерской, социализм развитой
К нам вышел однажды, да так, что его не узнали.
Потом мы привыкли, как водится, к формуле той,
Потом отменили ее или так, замотали.
Ведь есть же другие, французские, что ли, края,
Где битвы за качество нет и геройских надоев...
Интенсификация, о, дорогая моя,
Тебя с эффективностью путаю, смысл не усвоив.
То некомпетентность на всю обругают страну,
То приспособленчество, то, например, пустозвонство,
То очковтирательство... что еще ставят в вину?
Я помню и хуже: вредительство, низкопоклонство...
А тут еще гласность... Ну, гласность, понятно, нужна.
И правда... выкладывай всю ее, правду, и совесть.
Совсем не останется слов у нас скоро... Со сна
Ищу — не найду... только "может быть", "значит" и "то есть".

* * *

"Слава — это солнце мертвых".
Пыль на стоптанных ботфортах,
Смерти грубая печать.
Сыну почв сухих и твердых,
Корсиканцу лучше знать.
Смуглый, он-то в этом зное
Разбирался, как никто.
Припечет нас золотое
Лет примерно через сто.
Фивы рядом с нами, Троя.
Не похож ты на героя:
Шапка, зимнее пальто.
Не тянись, себя не мучь.
Что ж, любил, любил я страстно
В нашей стуже из-за туч
Достававший нас нечасто
Изможденный, слабый луч.
Ненадежное мерцанье
Сквозь клубящийся туман
Нам он был, как обещанье
Незакатных волн и стран.

Городские расстоянья,
Разбежавшиеся мысли...
А тому, кого при жизни
Он избаловал, тому
Будет холодно в отчизне
Той, как в зимний день в Крыму.

* * *

Не так ли мы стихов не чувствуем порой,
Как запаха цветов не чувствуем? Сознание
Притуплено у нас полдневной жарой,
Заботами... Мы спим... В нас дремлет обоняние...
Мы бодрствуем... Увы, оно заслонено
То спешкой деловой, то новостью, то зреньем.
Нам прозу подавай: всё просто в ней, умно,
Лишь скована душа каким-то сожаленьем.
Но вдруг... как будто в сад распахнуто окно, —
А это Бог вошел к нам со стихотвореньем!

* * *

Как ночью берегом крутым
Ступая робко каменистым.
Шаг, еще шаг... За кем? За ним.
За спотыкающимся смыслом.
Густая ночь и лунный дым.
Как за слепым контрабандистом.
Раскинув руки, над обрывом,
И камешек то там, то тут
Несется с шорохом счастливым
Вниз: не пугайся! Темный труд
Оправдан будничным мотивом.
Я не отдам тебя, печаль,
Тебя, судьба, тебя, обида,
Я тоже вслушиваюсь в даль,
Товар — в узле, всё шито-крыто.
Я тоже чернь, я тоже шваль,
Мне ночь — подмога и защита.
Не стал бы жить в чужой стране
Не потому, что жить в ней странно,
А потому, что снится мне
Сюжет из старого романа:
Прогулка в лодке при луне,
Улыбка, полная обмана.
Где жизнь? прокралась, не догнать.
Забудет нас, расставшись с нами.
Не плачь, как мальчик. Ей под стать

Пространство с черными волнами.
С земли не станем поднимать
Монетку, помнишь, как в Тамани?

* * *

Мне весело: ты платье примеряешь,
Примериваешь, в скользкое — ныряешь,
В блестящее — уходишь с головой.
Ты тонешь, западаешь в нем, как клавиш,
Томишь, тебя мгновенье нет со мной.
Потерянно смотрю я, сиротливо.
Ты ласточкой летишь в него с обрыва.
Легко воспеть закат или зарю,
Никто в стихах не трогал это диво:
"Мне нравится", — я твердо говорю.
И вырез на спине, и эти складки.
Ты в зеркале, ты трудные загадки
Решаешь, мне не ясные. Но вот
Со дна его всплываешь: всё в порядке.
Смотрю: оно, как жизнь, тебе идет.

* * *

Сторожить молоко я поставлен тобой,
Потому что оно норовит убежать.
Умерев, как бы рад я минуте такой
Был: воскреснуть на миг, пригодиться опять.
Не зевай! Белой пеночке рыхлой служи,
В надувных, золотых пузырьках пустяку.
А глаголы, глаголы-то как хороши:
Сторожить, убежать, — относясь к молоку!
Эта жизнь, эта смерть, эта смертная грусть,
Прихотливая речь, сколько помню себя...
Не сердись: я задумаюсь — и спохвачусь.
Я из тех, кто был точен и зорек, любя.
Надувается, сердится, как же! пропасть
Так легко... столько всхлипов, и гневных гримас,
И припухлостей... пенная, белая страсть;
Как морская волна, окатившая нас.
Тоже, видимо, кто-то тогда начеку
Был... О, чудное это, слепое "чуть-чуть",
Вскипятить, отпустить, удержать на бегу,
Захватить, погасить, перед этим — подуть.

* * *

Говорю тебе: этот пиджак
Будет так через тысячу лет
Драгоценен, как тога, как стяг
Крестоносца, утративший цвет.
Говорю тебе: эти очки.
Говорю тебе: этот сарай...
Синеокого смысла пучки,
Чудо, лезущее через край.
Ты сидишь, улыбаешься мне
Над заставленным тесно столом,
Разве Бога в сегодняшнем дне
Меньше, чем во вчерашнем, былом?
Помнишь, нас разлучили с тобой?
В этот раз я тебя не отдам.
Незабудочек шелк голубой
По тенистым разбросан местам.
И посланница мглы вековой,
К нам в окно залетает пчела,
Что, быть может, тяжелой рукой
Артаксеркс отгонял от чела.

* * *

Посмотри: в вечном трауре старые эти абхазки.
Что ни год, кто-нибудь умирает в огромной родне.
Тем пронзительней южные краски,
Полыхание роз, пенный гребень на синей волне,
Не желающий знать ничего о смертельной развязке,
Подходящий с упреком ко мне.
Сам не знаю, какая меня укусила кавказская муха.
Отшучусь, может быть.
Ах, поэзия, ты, как абхазская эта старуха,
Всё не можешь о смерти забыть,
Поминаешь ее в каждом слове то громко, то глухо,
Продеваешь в ушко синеокое черную нить.

АПОЛЛОН В ТРАВЕ

В траве лежи. Чем гуще травы,
Тем незаметней белый торс,
Тем дальнобойный взгляд державы
Беспомощней; тем меньше славы,
Чем больше бабочек и ос.
Тем слово жарче и чудесней,
Чем тише произнесено.
Чем меньше стать мечтает песней,

Тем ближе к музыке оно;
Тем горячей, чем бесполезней.
Чем реже мрачно напоказ,
Тем безупречней, тем печальней,
Не поощряя громких фраз
О той давилъне, наковальне,
Где задыхалось столько раз.
Любовь трагична, жизнь страшна.
Тем ярче белый на зеленом.
Не знаю, в чем моя вина.
Тем крепче дружба с Аполлоном,
Чем безотрадней времена.
Тем больше места для души,
Чем меньше мыслей об удаче.
Пронзи меня, вооружи
Пчелиной радостью горячей!
Как крупный град в траве лежи.

* * *

Дорогой Александр! Здесь, откуда пишу тебе, нет
Ни сирен, — ах, сирены с безумными их голосами! —
Ни циклопов, — привет
От меня им, сидящим в своих кабинетах, с глазами
Всё в порядке у них, и над каждым — дежурный портрет.
Нет разбойников, нимф,
Это всё — на земле, как ни грустно, квартиры и гроты;
Что касается рифм,
То, как видишь, освоил я детские эти заботы
На чужом языке, вспоминая прилив и отлив.
Шелестенье волны,
Выносящей к ногам в крутобедрой бутылке записку
Из любимой страны...
Здесь, откуда пишу тебе, море к закатному диску
Льнет, но диск не заходит, томят незакатные сны.
Дорогой Александр,
Почему тебя выбрал, сейчас объясню; много ближе,
Скажешь, буйный ко мне Архилох, семиструнный Терпандр,
Но и пальме сосна снится в снежной красе своей рыжей,
А не дрок, олеандр.
А еще потому
Выбор пал на тебя, нелюдим, что, живя домоседом,
Огибал острова, чуть ли не в залетейскую тьму
Заходил, всё сказал, что хотел, не солгал никому, —
И остался неведом.
В благосклонной тени. Но когда ты умрешь, разберут
Всё, что сказано: так придвигают к глазам изумруд,
Огонек бриллианта.

Сколько чудищ обвел вокруг пальца, статей их, причуд
Не боясь: ты обманута, литературная банда!
Вы обмануты, стадом гуляющие женихи.
И предательский лотос
Не надкушен, с тобой — твоя родина, беды, грехи.
Человек умирает — зато выживают стихи.
Здравствуй, ласковый ум и мужская, упрямая кротость!
Помогал тебе Бог или смуглые боги, как мне,
Выходя, как из ниши, из ямы воздушной во сне,
Обнимала прохлада,
Навевая любовь к заметенной снегами стране...
Обнимаю тебя. Одиссей. Отвечать мне не надо

* * *

В наших северных рощах, ты помнишь, и летом клубятся
Прошлогодние листья, трещат и шуршат под ногой,
И рогатые корни южанина и иностранца
Забавляют: не ждал он высокой преграды такой,
Как домашний порог, так же буднично стоптанный нами;
Вообще он не думал, что могут быть так хороши
Наши ели и мхи, вековые стволы с галунами
Голубого лишайника, юркие в дебрях ужи.
Мы не скажем ему, как вздыхаем по югу, по гляncy
Средиземной листвы, мы поддакивать станем ему:
Да, еловая тень... Мы южанину и иностранцу
Незабудочек нежных покажем в лесу бахрому,
Переспросим его: не забудет он их? Не забудет.
Никогда! ни за что! голубые такие... их нет
Там, где жизнь он проводит так грустно... Увидим: не шутит,
И вздохнем, и простимся... помашем рукою вослед.

* * *

Боже мой, среди Рима, над Форумом, в пыльных кустах
Ты легла на скамью, от траяновых стен — в двух шагах
В трикотажном костюмчике, — там, где кипела вражда,
Где Катулл проходил, бормоча: — Что за дрянь, сволота!
Как усталостью был огорчен я твоей, уязвлен
Тем, что не до камней тебе этих, побитых колонн,
Как стремился я к ним, как я рвался, не чаял узреть.
Ты мне можешь испортить всё, всё, даже Рим, даже смерть!
Где мы? В Риме! Мы в Риме. Мы в нем. Как он желт, кареглаз!
Мы в пылающем Риме вдвоем. Повтори еще раз.
Как слова о любви, повтори, чтоб поверить я мог
В это солнце, в крови растворенное, в ласковый рок.
Ты лежала ничком в двух шагах от теней дорогих.
Эта пыль, этот прах мне дороже всех близких, родных.

Как усталость умеет любовь с раздраженьем связать
В чудный узел один: вот я счастлив, несчастен опять!
Вот я должен сидеть, ждать, пока ты вздохнешь, оживешь.
Я хотел бы один любоваться руинами... Ложь.
Я не мог бы по прихоти долго скитаться своей
Без тебя, без любви, без родимых лесов и полей.

* * *

Но тот, кто видел в сетке крошечных
Перепелов несчастных, участи
Ужасной ждущих, кучкой сложенных,
Как овощи, полузамученных,
Дрожащих, маленькие головы
В ячейки узкие просовывающих,
Боящихся прилавка голого
И смуглокожих рук чудовища, —
Я тверд, и ты не слабонервная,
И жизнью вылеплены строгою,
Старик абхазец прав, наверное,
Что ужас наш его не трогает, —
Кто видел пестрых, видел обморочных,
На вес идущих грудой дышащей,
Тому уже не надо поручней,
Перил, тот верит силе мышечной,
Тот знает, что и в худшем случае
Не упадет, что роли воина,
Ловца, раба, царя получены
Из сильных рук, что так устроено.

* * *

Если кто-то Италию любит,
Мы его понимаем, хотя
Сон полуденный мысль ее губит,
Солнце нежит и море голубит,
Впала в детство она без дождя.
Если Англию — тоже понятно.
И тем более — Францию, что ж,
Я впивался и сам в нее жадно,
Как пчела... Ах, на ней даже пятна,
Как на солнце: увидишь — поймешь.
Но Россию со всей ее кровью...
Я не знаю, как это назвать, —
Стыдно, страшно, — неужто любовью?
Эту рыхлую ямку кротовью,
Серой ивы бесцветную прядь.

* * *

Нет дороги иной для уставшей от бедствий страны,
Как пойти, торопясь, по пути рассудительных стран.
Все другие дороги безумны, бездомны, страшны, —
Так я думаю, с книгой садясь на диван.
Рассужденья разумны мои — потому не верны.
И за доводом лезть надо в самый глубокий карман.
А в глубоком кармане, внутри пиджака, на груди —
Роковая записочка, скомканный, смятый листок,
И слова полустертые неразличимы почти,
И читать надо тоже не прямо ее — между строк:
Будь что будет, а будет у нас впереди
То, чего ни поэт, ни философ не знает, ни Бог.
Каждый раз выбирает Россия такие пути,
Что пугается Запад, лицо закрывает Восток.

* * *

Запиши на всякий случай
Телефонный номер Блока:
Шесть — двенадцать — два нуля.
Тьма ль подступит грозной тучей,
Сердцу ль станет одиноко,
Злой покажется земля.
Хорошо — и слава богу,
И хватает утешений
Дружеских и стиховых,
И стареем понемногу
Мы, ценители мгновений
Чудных, странных, никаких.
Пусть мелькают страны, лица,
Нас и Фет вполне устроить
Может, лиственная тень,
Но... кто знает, что случится?
Зря не будем беспокоить.
Так сказать, на черный день.

* * *

Я не ценю балет и не люблю парад,
Их крепостной сюжет, самодержавный лад.
Пусть ножка ножку бьет, под козырек берут, —
Подозреваю гнет и подневольный труд.
А я люблю, когда по комнате, мой друг,
Смеясь, балдой балда, ты закружишься вдруг.
И я люблю стихов неотразимый строй,
Что умереть готов, как полк, за нас с тобой.

* * *

Сапоги твои стоят в прихожей,
Словно я живу с кавалеристом.
Здравствуй, день весенний, тонкокожий,
С влажным блеском, с талым аметистом.
На мальчишек женщины похожи,
И короткая идет им стрижка.
Все мы братья, сестры все мы тоже,
Пауза у нас и передышка.
Никого никто не будет мучить
Больше; вшиты солнечные клинья
В сумрак; ах, весной даже тучи
Не внушают мрака и унынья.

* * *

Я список кораблей прочел до середины...
О. Мандельштам

Мы останавливали с тобой
Каретоподобный кэб
И мчались по Лондону, хвост трубой,
Здравствуй, здравствуй, чужой вертеп!
И сорили такими словами, как
Оксфорд-стрит и Трафальгар-сквер,
Нашей юности, канувшей в снег и мрак,
Подавая плохой пример.
Твой английский слаб, мой французский плох.
За кого принимал шофер
Нас? Как если бы вырицкий чертополох
На домашний ступил ковер.
Или розовый сиверский иван-чай
Вброд лесной перешел ручей.
Но сверх счетчика фунт я давал на чай —
И шофер говорил: "О'кей!"
Потому что, наверное, сорок лет
Нам внушали средь наших бед,
Что бессмертия нет, утешенья нет,
А уж Англии, точно, нет.
Но сверкнули мне волны чужих морей,
И другой разговор пошел...
Не за то ли, что список я кораблей,
Мальчик, вслух до конца прочел?

ТРОЯ

Т. Венцлове

— Поверишь ли, вся Троя — с этот скверик, —
Сказал приятель, — с детский этот садик,
Поэтому когда Ахилл-истерик
Три раза обежал ее, затратил
Не так уж много сил он, догоняя
Обидчика... — Я маленькую Трою
Представил, как пылится, зарастая
Кустарничком, — и я притих, не скрою.
Поверишь ли, вся Троя — с этот дворик,
Вся Троя — с эту детскую площадку...
Не знаю, что сказал бы нам историк,
Но весело мне высказать догадку
О том, что всё великое скорее
Соизмеримо с сердцем, чем громадно, —
При Гекторе так было, Одиссее,
И нынче точно так же, вероятно.

* * *

В отчаянье или в беде, беде,
Кто б ни был ты, когда ты будешь в горе,
Знай: до тебя уже на сумрачной звезде
Я побывал, я стыл, я плакал в коридоре.
Чтоб не увидели, я отводил глаза.
Я признаюсь тебе в своих слезах, несчастный
Друг, кто бы ни был ты, чтоб знал ты: небеса
Уже испытаны на хриплый крик безгласный
Не отзываются. Но видишь давний след?
Не первый ты прошел во мраке над обрывом.
Тропа проложена. Что, легче стало, нет?
Вожусь с тобой, самолюбивым...
Названья хочешь знать несчастий? Утаю
Их; куст клубится толстокожий.
Как там, у Пушкина: "всё на главу мою... "
Что всё? Не спрашивай: у всех одно и то же.
О кто бы ни был ты, тебе уже не так
Мучительно и одиноко.
Пройдись по комнате иль на диван приляг.
Жизнь оправдается, нежна и синеока.

* * *

Лишайничек серый, пушистый, на дачном заборе,
Такой бархатистый, — свидетелем будь в нашем споре.
Жизнь — чудо, по-моему, чудо. Нет, горечь и горе.
Да, горечь и горе, а вовсе не счастье и чудо.
На дачном заборе, слоистый, не знаю откуда.
Такой неказистый, пусть видит, какой ты зануда.
Какие лишенья на мненье твое повлияли,
Что вот утешенья не хочешь, — кружки и спирали
Под пальцами мелкие, пуговицы, скобки, детали.
Всего лишь лишайничек, мягкой сыпью, и то лишь
Забывшись, руке потрепать его быстро позволишь,
И вымолишь вдруг то, о чем столько времени молишь.
Затем что и сверху, и снизу, и сбоку — Всевышний
Поэтому дальний от нас, выясняется, — ближний,
Спешащий на помощь, как этот лишайничек лишний.

* * *

Человек узнает о себе, что маньяк он и вор.
Что в автографе гения он преднамеренно строчку
Исказил, — как он жить будет с этих, подумаешь, пор?
А никак! То есть так, как и прежде, с грехом в одиночку.
Потому что в эпоху разомкнутых связей и скреп
Никому ничего объяснить не дано — и не надо.
Кислой правды назавтра черствеет подмоченный хлеб.
Если правду сказать, и строка та была сыровата.
И не трогал ее, а дотронулся только слегка.
Совершенного вида стесняется несовершенный.
Спи, не плачь. Ты старик. Ну, стихи, ну, строфа, ну, строка.
Твой поступок — пустяк в равнодушной, как старость, Вселенной.
Ай! Не слышат. Ой-ой! Ни одна не сойдет, не кричи,
С ненавистной орбиты ревущая зверем громада,
Серный газ волоча. О, возить бы на ней кирпичи,
Как на грузовике, что несется в пыли мимо сада.
— Ах, вы вот как, вы так? Обещая полнейшую тьму,
Беспросветную ночь, безразличную мглу, переплавку...
Он сказал бы, зачем это сделал, певцу одному,
Если б очную им вдруг устроили звездную ставку!

* * *

Разве можно после Пастернака
Написать о елке новогодней?
Можно, можно! — звезды мне из мрака

Говорят, — вот именно сегодня.
Он писал при Ироде: верблюды
Из картона, — клей и позолота, —
В тех стихах евангельское чудо
Превращали в комнатное что-то.
И волхвы, возможные напасти
Обманув, на валенки сапожки
Обменяв, как бы советской власти
Противостояли на порожке.
А сегодня елка — это елка,
И ее нам, маленькую, жалко.
Веточка, колючая, как челка,
Лезет в глаз, — шалунья ты, нахалка!
Нет ли Бога, есть ли Он, — узнаем,
Умерев, у Гоголя, у Канта,
У любого встречного, — за краем.
Нас устроят оба варианта.

КОНЬКОБЕЖЕЦ

Зимней ласточкой с визгом железным
Семимильной походкой стальной
Он проносится небом беззвездным,
Как сказал бы поэт ледяной,
Но растаял одический холод,
И летит конькобежец, воспет
Кое-как, на десятки расколот
Положений, углов и примет.
Геометрии в полном объеме
Им прочитанный курс для зевак
Не уложится в маленьком томе,
Как бы мы ни старались, — никак!
Посмотри: вылезают голени
И выбрасывается рука,
Как ненужная вещь на арене
Золотого, как небо, катка.
Реже, реже ступай, конькобежец...
Век прошел — и чужую строку,
Как перчатку, под шорох и скрежет
Поднимаю на скользком бегу:
Вызов брошен — и должен же кто-то
Постоять за бесславный конец:
Вся набрякла от снега и пота
И, смотри, тяжела, как свинец.
Что касается чоканья с твердой
Голубою поверхностью льда, —
Это слово в стихах о проворной
Смерти нас впечатлило, туда,

Между прочим, — и это открытье
Веселит, — из чужого стиха
Забежав с конькобежною прытью:
Все в родстве-воровстве, нет греха!
Не споткнись! Если что и задержит,
То неловкость — и сам виноват.
Реже, реже ступай, конькобежец,
Твой размашистый почерк крылат,
Рифмы острые искрами брызжут,
Приглядимся ж тебе и пойдем
То, что ласточки в воздухе пижут
Или ветви рисуют на нем.
Не расстаться с тобой мне, — пари же,
Вековые бодая снега.
И живи он в Москве, — не в Париже,
Жизнь тебе посвятил бы Дега,
Он своих балерин и лошадок
Променял бы, в тулупчик одет,
На стремительный этот припадок
Длинноногого бега от бед.

* * *

Там, где весна, весна, всегда весна, где склон
Покат, и ласков куст, и черных нет наветов,
Какую премию мне Аполлон
Присудит, вымышленный бог поэтов!
А ствол у тополя густой листвой оброс,
Весь, снизу доверху, - клубится, львиногривый.
За то, что ракурс свой я в этот мир принес
И не похожие ни на кого мотивы.
За то, что в век идей, гулявших по земле,
Как хищники во мраке,
Я скатерть белую прославил на столе
С узором призрачным, как водяные знаки.
Поэт для критиков что мальчик для битья.
Но не плясал под их я дудку.
За то, что этих строк в душе стесняюсь я,
И откажусь от них, и превращу их в шутку.
За то, что музыку, как воду в решето,
Я набирал для тех, кто так же на отшибе
Жил, за уступчивость и так, за низачто,
За je vous aime, ich liebe.

* * *

О. Чухонцеву

Мне приснилось, что все мы сидим за столом,
В полублеск облачась, в полумрак,
И накрыт он в саду, и бутылки с вином,
И цветы, и прохлада в обнимку с теплом,
И читает стихи Пастернак.
С выраженьем, по-детски, старательней, чем
Это принято, чуть захмелев,
И смеемся, и так это нравится всем,
Только Лермонтов: "Чур, — говорит, — без поэм!
Без поэм и вступления в Леф!"
А туда, где сидит Председатель, взглянуть...
Но, свалившись на стол с лепестка,
Жук пускается в долгий по скатерти путь...
Кто-то встал, кто-то голову клонит на грудь,
Кто-то бедного ловит жука.
И так хочется мне посмотреть хоть разок
На того, кто... Но тень всякий раз
Заслоняет его или чей-то висок,
И последняя ласточка наискосок
Пронеслась, чуть не врезавшись в нас...

* * *

Смерть и есть привилегия, если хотите знать.
Ею пользуется только дышащий и живущий.
Лучше камнем быть, камнем... быть камнем нельзя,
лишь стать
Можно камнем: он твердый, себя не осознающий,
Как в саду этот Мечников в каменном сюртуке,
Простоквашей спасавшийся, — не помогла, как видно.
Нам оказана честь: мы умрем. О времен реке
Твердо сказано в старых стихах и чуть-чуть обидно.

Вот и вся метафизика. Словно речной песок,
Полустертые царства, поэты, цари, народы,
Лиры, скипетры... Камешек, меченый мой стишок!
У тебя нету шансов... Кусочек сухой породы,
Твердой (то-то чуждался последних вопросов я,
обходил стороной) растворится в веках, пожрется.
Не питая надежд, не унижившись до вранья...
Привилегия, да, и как всякая льгота, жжется.

САХАРНИЦА

Памяти Л.Я.Гинзбурга

Как вещь живет без вас, скучает ли? Нисколько!
Среди иных людей, во времени ином,

Я видел, что она, как пушкинская Ольга,
Умершим не верна, родной забыла дом.

Иначе было б жаль ее невыносимо.
На ножках четырех подогнутых, с брюшком
Серебряным, — но нет, она и здесь ценима,
Не хочет ничего, не помнит ни о ком.

И украшает стол, и если разговоры
Не те, что были там, — попроще, победней, —
Все так же вензеля сверкают и узоры,
И как бы ангелок припаян сбоку к ней.

Я все-таки ее взял в руки на мгновенье,
Тяжелую, как сон. Вернул, и взгляд отвел.
А что бы я хотел? Чтоб выдала волнение?
Заплакала? Песок просыпала на стол?

* * *

Памяти И.Бродского

Я смотрел на поэта и думал: счастье,
Что он пишет стихи, а не правит Римом,
Потому что и то и другое властью
Называется, и под его нажимом
Мы б и года не прожили — всех бы в строфы
Заклучил он железные, с анжамбманом
Жизни в сторону славы и катастрофы,
И, тиранам грозя, он и был тираном,
А уж мне б головы не сносить подавно
За лирический дар и любовь к предметам,
Безразличным успехам его державным
И согретым решительно-мягким светом.

А в стихах его власть, с ястребиным криком
И презреньем к двуногим, ревнуя к звездам,
Забиралась мне в сердце счастливым мигом,
Недоступным Калигулам или Грозным,
Ослепляла меня, поднимая выше
Облаков, до которых и сам охотник,
Я просил его все-таки: тише! тише!
Мою комнату, кресло и подлокотник
Отдавай, — и любил меня, и тиранил:
Мне-то нравятся ласточки с голубою
Тканью в ножницах, быстро стригущих дальний
Край небес. Целовал меня: Бог с тобою!

* * *

Всё нам Байрон, Гете, мы, как дети,
Знать хотим, что думал Теккерей.
Плачет Бог, читая на том свете
Жизнь незамечательных людей.
У него в небесном кабинете
Пахнет мятой с сиверских полей.

Он встает, подавлен и взволнован,
Отложив очки, из-за стола.
Лесосклад он видит, груды бревен
И осколки битого стекла.
К дяде Пете взгляд его прикован
Средь добра вселенского и зла.

Он читает в сердце дяди Пети,
С удивленьем смотрит на него.
Стружки с пылью поднимает ветер.
Шепчет дядя: этого...того...
Сколько бед на горьком этот свете!
Загляденье, радость, волшебство!

* * *

М.Петрову

Когда страна из наших рук
Большая выскользнула вдруг
И разлетелась на куски,
Рыдал державинский басок
И проходил наискосок
Шрам через пушкинский висок
И вниз, вдоль тютчевской щеки.

Я понял, что произошло:
За весь обман ее и зло,
За слезы, капавшие в суп,
За всё, что мучило и жгло...
Но был же заячий тулуп,
Тулупчик, тайное тепло!

Но то была моя страна,
То был мой дом, то был мой сон,
Возлюбленная тишина,
Глагол времен, металла звон,
Святая ночь и небосклон,
И ты, в Элизиум вагон

Летающий в злые времена,
И в огороде бузина,
И дядька в Киеве, и он!

* * *

«...тише воды, ниже травы...»

А.Блок

Когда б я родился в Германии в том же году,
Когда я родился, в любой европейской стране:
Во Франции, в Австрии, в Польше, — давно бы в аду
Я газовом сгинул, сгорел бы, как щепка в огне,
Но мне повезло — я родился в России, такой,
Сякой, возмутительной, сладко не жившей ни дня
Бесстыдной, бесправной, замученной, полунагой,
Кромешной — и выжить был все-таки шанс у меня.

И я арифметики этой стесняюсь чуть-чуть,
Как выгоды всякой на фоне бесчисленных бед.
Плачь, сердце! Счастливый такой почему б не вернуть
С гербом и печатью районного загса билет
На вход в этот ужас? Но сказано: ниже травы
И тише воды. Средь безумного вихря планет!
И смотрит бесслезно, ответа не зная, увы,
Не самый любимый, но самый бесстрашный поэт.

* * *

Ох, я открыл окно, открыл окно, открыл
На даче, белое, и палочки подставил,
Чтоб не захлопнулось, и воздух заходил,
Как Петр, наверное, по комнате и Павел
В своем на радости настоенном краю
И сладкой вечности, вздымая занавеску,
Как бы запахнуты в нее, как бы свою
Припомнив молодость и получив повестку.

Ох, я открыл окно, открыл окно, открыл
И, что вы думаете, лег лицом в подушку!
Такое смутное томленье, — нету сил
Перенести его, и сну попал в ловушку,
Дождем расставленную, и дневным теплом,
И слабым шелестом, и пасмурным дыханьем,
И спал, и счастлив был, как бы в саду ином.
С невнятным, вкрадчивым и неземным названьем.

* * *

Я рай представляю себе, как подъезд к Судаку,
Когда виноградник сползает с горы на боку
И воткнуты сотни подпорок, куда ни взгляни,
Татарское кладбище напоминают они.

Лоза виноградная кажется каменной, так
Тверда, перекручена, кое-где сжата в кулак,
Распята и, крылья полураспахнув, как орел,
Вином обернувшись, взлетает с размаха на стол.

Не жалуйся, о, не мрачней, ни о чем не грусти!
Претензии жизнь принимает от двух до пяти,
Когда, разморенная послеобеденным сном,
Она вам внимает, мерцая морским ободком.

* * *

Пить вино в таком порядке:
Рислинг кисленький и гладкий,
Херес чуть шероховат,
И портвейн, как столик, шаткий,
И мускат как бы покат.

«Черный доктор» за мускатом
Кажется продолговатым,
И коньяк не пропустить
С лошадиным ароматом.
А шампанским все запить.

Ну, какой я дегустатор!
Жизнь прекрасна, так и быть.

* * *

А. Штейнбергу

Греческую мифологию
Больше библии люблю,
Детскость, дерзость, демагогию,
Верность морю, кораблю.

И стесняться многобожия
Ни к чему: что есть, то есть.
Лес дубовый у подножия
Приглашает в гору лезть.

Но и боги сходят запросто
Вниз по ласковой тропе,
Так что можно не карабкаться —
Сами спустятся к тебе.

О, какую ношу сладкую
Перенес через ручей!
Ветвь пробьется под лопаткою,
Плющ прижмется горячей.

И насколько ж ближе внятная
Страсть влюбленного стиха,
Чем идея неопрятная
Первородного греха.

* * *

Фету кто бы сказал, что он всем навязал
Это счастье, которое нам не по силам?
Фету кто бы сказал, что цветок его ал
Вызывающе, к прядкам приколотый милым?

Фету кто бы шепнул, что он всех обманул,
А завзятых певцов, так сказать, переплюнул?
Посмотреть бы на письменный стол его, стул,
Прикоснуться бы пальцем к умолкнувшим струнам!

И когда на ветру молодые кусты
Оживут, заслоняя тенями тропинку,
Кто б пылинку смахнул у него с бороды,
С рукава его преданно сдунул соринку?

* * *

Всё знание о стихах — в руках пяти-шести,
Быть может, десяти людей на этом свете:
В ладонях берегут, несут его в горсти.
Вот мафия, и я в подпольном комитете
Как будто состою, а кто бы знал без нас,
Что Батюшков, уйдя под воду, вроде Байи,
Жемчужиной блестит, мерцает, как алмаз,
Живей, чем все льстецы, певцы и краснобаи.

И памятник, глядишь, поставят гордецу,
Ушедшему в себя угрюмцу и страдальцу,
Не зная ни строки, как с бабочки, пыльцу
Стереть с него грозя: прижаты палец к пальцу —
И пестрое крыло, зажатое меж них,

Трепещет, обнажив бесцветные прожилки.
Тверди, но про себя, его лазурный стих,
Не отмыкай ларцы, не раскрывай копилки.

* * *

Стихи — архаика. И скоро их не будет.
Смешно настаивать на том, что Архилох
Еще нас по утрам, как птичий хохот, будит,
Еще цепляется, как зверь-чертополох.

Прощай, речь мерная! Тебе на смену проза
Пришла, и Музы-то у опоздавшей нет,
И жар лирический трактуется как поза
На фоне пристальных журналов и газет.

Я пил с прозаиком. Пока мы с ним сидели,
Он мне рассказывал. Сюжет — особый склад
Мировоззрения, а стих живет без цели,
Летит, как ласточка, свободно, наугад.

И третье, видимо, нельзя тысячелетье
Представить с ямбами, зачем они ему?
Всё так. И мало ли, о чем могу жалеть я?
Жалей, не жалуйся, гори, сходя во тьму.